

РАДОЙ

I

Вскоре после покорения Варны приехал я в эту крепость. Жители, турки, еще не выби́рались из нее по условию; они еще, собираясь в дорогу, продавали свое движимое и недвижимое имущество грекам, армянам и русским. На площадке давка, толкучий рынок — дешевизна, соблазн ужасный: турецкие шали, персидские ковры, чубуки жасминные и черешневые в сажень, роскошные янтарные мундштуки, арабские кони, бархатные седла, шитые золотом, пистолеты и ятаганы, одежда восточная и утварь... Как не купить чего-нибудь турецкого на память Варны и не вывезть в Россию? «Что стоит шаль? *Кэтс пара?*» — «*Алтыюз лева*». Шестьсот левов турецкая шаль! Шестьсот левов составят только двадцать червонцев, а у меня их полный карман!.. Давай!.. «Что стоит конь?» — «*Бин лева*». Тысячу левов арабский конь, белый, как снег, шерсть, как атлас, смотрит орлом, крутится вихрем, мчится стрелой! Давай!.. Греческая женская фермеле, на горностае! «*Кэтс пара?*» — «*Юз лева*». Сто левов!.. Давай!..

В день, в два турки увидели, что у нас нет левов, а есть только червонцы и что эти *червенца*, тридцатилевники, для нас дешевле шелухи, выбиваемой на монетном дворе его султанского величества. И вот на другой же день о левах и речи нет. *Кэтс пара?* — *Ики червенца, он червенца, юз червенца*. Ни один разумный *османлы* про левы и слышать не хочет.

С досадой в душе, что не удалось купить прекрасной розовой шали за *бин лева*, потому что ее цена, в честь щедрых победителей, превратилась вдруг в *ики юз червенцы*, я отправился верхом на арабском жеребце, которого удалось мне купить у Тегирпаши на левы.

Насмотревшись вдоволь на Черное море и не заметив в нем ничего черного, я заехал в арсенал, где свалено было оружие всего турецкого гарнизона, защищавшего Варну... Тут были горы сабель, ятаганов, ружей, пистолетов, и можно было ходить по этим горам, как по иглам железного ежа, колоть и резать себе руки и ноги и выбирать что угодно на турецкую голову и на украшение стен над ложем почивающих от трудов героев. Выбрав с десятков ятаганов *Анадоли*, пар пять пистолетов и ружей *Шешене* и *Дели-Орман* да с дюжину сабель *Килич*, подобных новорожденной луне, я отправил свой трофейный арсенал на квартиру и пустил плясать коня вдоль торговой узенькой улицы. Гордо несся конь мой, согнув в крутую дугу выю и кивая головою; пунцовые шелковые кисти рассыпались на все стороны над благополучными знаками лба его. Душа так и радовалась доброте коня!

Остановясь подле лавки, где жгли кафэ, мололи его в прах и сыпали, как муку, в закромы вроде яслей, я велел отвесить себе *бир ока*. *Базаргян* отвесил одно око¹, вынул из ящика сверток бумаги, оторвал лист, свернул воронкой... Ба, ба, ба! Писано по-русски!.. «Отдай мне это!» Турок покачал головою и стазал «Шок!» — «Пожалуйста, отдай!» — «Иок, иок!» — «Ну, возьми пара: кэтс пара?» — «Элли червенца!» — «За сверток оберточной бумаги пятьдесят червонцев! Ах, ты *бирадам* проклятый!» У меня волосы стали дыбом, но любопытство... и можно ли жалеть денег за русскую рукопись, найденную в Варне, в руках *базаргяна*? «Возьми бир червенца». — «Иок! Элли червенца!» Что делать! Он, злодей, всю русскую рукопись скорее употребит на обертки, чем уступит хоть одну пару из пятидесяти червонцев. Вздохнув, я отсчитал пятьдесят червонцев, схватил свернутую тетрадь и кафэ, завернутый в отодранный лист, поскакал домой...

И вот посреди бывшего гарема с резным потолком и стенами, с решетчатыми окнами раскинулся я на ковре спокойствия, как *Улема* с *китабом* в руках, с чубуком в зубах, и стал читать рукопись без заглавия и без начала.

«Хм, — сказал я сам себе, — что это? Былое это или просто сочинение какого-нибудь русского повествователя, попавшего в плен к туркам со всем выюком повестей и романов?»

В продолжение кампании денщик мой часто покушался употребить эту тетрадь без заглавия точно так же, как *баваргян*, но я отстаивал ее и просил убедительно, чтобы он не смел ни сапогов, ни эполетов, ни даже аксельбанта заворачивать в листы свертка синей исписанной бумаги.

— Да что им сделается? — повторял он мне всегда с сердцем. — Во что ж я заверну?

— Вот тебе на обертки, — говорил я, бросая ему десть бумаги.

За белую чистую бумагу денщик мой ужасно как был зол на сверток синей бумаги и при укладке вещей во выюченные чемоданы с презрением всегда выкидывал его и нехотя укладывал снова.

«Бедная повесть неизвестного сочинителя! — думал я, возвратясь в Россию. — Отстоит ли тебя судьба от употреблений на обертки, когда ты будешь напечатана?»



«...колени, и другой старался напроказить, чтобы стать на колени подле товарища; в классе и за столом рядом, сочинять стихи: Ура! вакация пришла! — Вместе...

II

Мемнон познакомил меня с отцом, с матерью, и со всею своею роднёю. Когда я увидел в первый раз его двоюродную сестру Елену — прощай, востор-

¹ старинная мера веса (ок. 400 г.) и жидкости (ок. 1,14 л.).

женная любовь к наукам! Напрасно повторяли мне, что «науки юношу питают, отраду в старости дают». При Елене я стыдился названия ученика и думал только о военном мундире: какое наслаждение явиться перед ней в колете, гремя саблей и шпорами! Но едва возвращался домой — поэзия обуревала душу, стихи лились потоками... Черные, огненные глаза, темно-русые локоны, коралловые уста, ланиты, перси и зависть к тому праху, который попирает она, и ревность к тому корсету, который так крепко сжимает ее... и

Как звезды по небу, рассыплю по тебе
Милльоны страстных поцелуев!

Соловей не воспевал на столько голосов своей любимицы розы. В то время слово *поэт* много значило в понятиях женщин: поэт был в глазах их воплощенными чувствами пламенной и постоянной любви, бескорыстным жрецом добра. Тогда говорили все друг другу: «Смотрите, смотрите, вот поэт!» — «Неужели?» — разносилось шепотом в толпе, и всё смотрело благоговейно на поэта и думало: это не просто человек, который пишет стихи! И всё ожидало: вот, вот посыплются из уст его рифмы!

Когда Елена узнала от Мемнона, что и я поэт, — «напишите на меня сатиру», — сказала она мне, подавая перо и розовый листок бумаги. Я зарделся зарей, присел, задумался и написал:

Желал бы я на вас сатиру написать,
Но даже выдумать не в силах укоризны:
Я мог бы вас капризною назвать,
Да вы, как ангел, и капризны.

Елена прочитала и взглянула на меня так нежно, так упоительно, что от полноты блаженства сердце как будто всплыло во мне, стеснило, заняло дыхание, и я стоял подле Елены как беспамятный, не слышал, что она говорила мне, не видел, как она отошла от меня.

Эта минута совершенно помутила во мне все чувства; я ходил, как потерянный, с каким-то убеждением, что Елена любит меня. Я сторожил ее взоры, прислушивался к задумчивости — Елена вздыхала!.. Мне хотелось сказать ей: я вас люблю! Только и думал я, каким бы образом сказать ей эти три слова, но никак не придумал: то неловко, то нельзя, то некстати. Часто я давал себе клятву: «Сегодня ни слова не скажу Елене, кроме «я вас люблю, Елена!» — и всегда изменял клятве досадным вопросом: «Как ваше здоровье?» Начинала ли она говорить со мною — я торопился отвечать: кровь бросалась в лицо, язык немел. Молчала ли Елена — я не смел прервать ее молчания: может быть, она думает в это время обо мне!

Чувства свои, однако ж, заботливо таил я от Мемнона. «Можно ли сказать брату о любви к его сестре?» — думал я и при нем старался быть как можно равнодушнее с Еленой. К счастью, замечая мою рассеянность и задумчивость,

он допрашивал меня о причине и говорил только: «Ты, я вижу, рожден поэтом».

В напрасных покушениях сказать Елене «я вас люблю!» прошло несколько месяцев. В одно воскресенье я пробыл почти целый день с Мемноном у дяди его; со вздохом взял уже шляпу, взглянул на Елену грустным взором, шаркнул, неловко повернулся уже к дверям — вдруг она остановила меня словами: «Вот вам на память моя работа», — и подала мне прекрасный бумажник, на котором была вышита беседка и посреди ее жертвенник с пламенем.

Помню, что я бросился к руке Елены, но что сказал, как вышел из комнаты, приехал ли домой или пришел пешком — ничего не помню.

Горячо расцеловал я подарок Елены, бережно уложил его в шкатулку, запер, снова вынул, еще раз поцеловал, снова спрятал... Мне хотелось сказать кому-нибудь: как я счастлив! — встретить кого-нибудь, кто бы спросил меня: чему ты так радуешься? И я пошел, сам не зная куда, и вдруг мне стало страшно: что, если кто-нибудь украдет шкатулку мою! Бегом пустился я назад, запыхавшись прибежал в свою комнату, бросился к шкатулке, вынул из нее мое сокровище, расцеловал, положил в карман, пошел опять и дорогой почти на каждом шагу ощупывал, тут ли мой бумажник. Поздно уже было, когда я очнулся и заметил, что стою против дома с закрытыми ставнями. «Елена уже спит!» — подумал я и медленно пошел домой. Ложась в постель, я положил подарок Елены в изголовье... задумался о ней... Едва сон начнет оковывать чувства — вдруг мысль: тут ли он?., спугнет сон, и рука тянется под подушку. Так прошла вся ночь, так прошла вся неделя. Нетерпеливо ждал я воскресенья; наконец оно настало, и я отправился к Мемнону, чтоб ехать с ним вместе в дом его дяди.

— Их уже нет в Москве, — сказал Мемнон. — Они уехали в деревню, — продолжал он, не замечая впечатления, которое произвели на меня его слова.

Скрывая внутреннее волнение от Мемнона, я присел к фортепьяно и в первый раз почувствовал, как музыка необходима для сердца, убитого горем; в первый раз стал я фантазировать и высказывать жалобы души звуками. Флегматик Мемнон не понял моих звуков.

— Полно, братец, брэнчать, — сказал он. Я вскочил, ушел от него и опомнился над листом бумаги, на котором написано было: *На разлуку*.

Голова моя лежала на левой руке, в правой держал я перо; слезы катились по лицу.

— Да ты, я вижу, поэт! — сказал мне однажды и отец, замечая мою рассеянность и задумчивость. — Жаль! я думал, что из тебя выйдет что-нибудь порядочное...

III

Мысль — скорее прославить себя и явиться достойным любви Елены — преследовала меня. Отец не противился желанию моему служить в военной службе; меня определил в корпус, расположенный в Московской губернии, но я перепросился в Кавказский корпус и полетел на поприще своей славы.

Несколько экспедиций в горы были счастливы для меня. Любовь сильнее честолюбия жаждет офицерского чина; вскоре я получил его. Еще чин поручика, думал я, и мне не стыдно будет сказать Елене: я вас люблю!

Но другой чин не так легко достался мне: я был взят в плен черкесами. Целый год пробыл в неволе у узденя Аллаюко и умер бы в неволе, если бы добрая Мазза, дочь его, не спасла меня. С помощью ее я бежал, но был ранен вдогонку пулею в плечо. К счастью, казачий пост был близок, и меня привезли в Тифлис. Едва вышел я из опасного положения, как встал с постели и мне подвязали руку черным платком. Черный платок как будто оживил меня; гордо взглянул я на себя в зеркало. Если бы видела меня теперь Елена! О, скорее в отпуск для излечения ран! Я боялся, чтобы рана моя не зажила совершенно до приезда в Москву.

Разумеется, получив отпуск, я не медлил ни минуты и, несмотря на совет медика дожидаться весны, поскакал по мартовскому ухабистому пути.

В продолжение трех лет все переменилось, кроме моего сердца. Я мог попасть в плен, но моего сердца не пленила черноокая, пламенная черкешенка: я был тот неблагодарный *кавказский пленник*, который даже не оглянулся на бедную Маззу, когда воздух свободы обвеял его и надежда видеть Елену оживила душу.

По приезде в Москву я застал Мемнона уже хозяином дома, владельцем, помещиком.

— Тебе остается только жениться, — сказал я ему.

— Это одно мое желание, — отвечал он.

— За чем же стало дело? Мало ли в Москве невест! Выбирай любую: ты богат, молод, хорош собою.

— Не выбирать хочу я... встретить ее. Я не верю ни сравнениям, ни испытаниям, сердце и рассудок могут быть обмануты; только одно не обманет: голос души при неожиданной встрече. Душа говорит, душа скажет: вот *она*, вот *та*, для которой создано твое сердце!

— Ты прав, Мемнон! Я испытал уже такой голос души, — вскричал я невольно.

— Не в ущельях ли Кавказа? Не в сакле ли во время плена? Бедный! мне жаль тебя, но, верно, свобода милей взаимной любви черкешенки: ты бежал от твоего счастья...

— О, нет, Мемнон! Мое счастье здесь, может быть, в Москве! — сказал я со вздохом и признался Мемнону, что люблю его сестру, что время не изгладило моей любви к Елене, что моя любовь к ней будет первою и последнею в жизни.

— И ты скрывал свои чувства от друга и брата! — сказал Мемнон с упреком.

— Друг и брат! — повторил я, обнимая его.

Елены не было в Москве, но, по словам Мемнона, она должна была скоро приехать.

В продолжение целого месяца я изнывал от ожидания и от боязни, что должен буду явиться Елене без повязки, без явного признака моих подвигов под стопами Кавказа.

Я жил у Мемнона, и мы по десяти раз в день посылали в дом его дяди узнать: приехали ль?

Нет и нет!

— Приехали! — произнес наконец неожиданно вошедший слуга. Если бы сонному вскрикнули над ухом: пожар! — он не так бы испугался, как испугался я, когда раздалось в дверях слово: приехали!

На другой же день Мемнон отправился с визитом один и вскоре возвратился.

— Я попросил позволения представить своего постояльца, — сказал он мне. — Сестре ужасно как хотелось знать, кто этот постоялец, но я утаил, чтобы удивить и обрадовать ее твоим неожиданным появлением.

Страшна была для меня минута готовности ехать; я медлил — Мемнон торопил меня.

Можно быть лучше всех, но если бы кто-нибудь сказал мне, что можно быть лучше самой себя, то я бы смеялся над тем. Красота четырнадцатилетней Елены врезалась в моей памяти. Я так привык в продолжение трех лет любить ее и верить, что ничего не может быть совершеннее ее, и вдруг я должен был разочароваться, изменить ей для Елены восемнадцатилетней.

— Вы ранены! — вскричала она, узнав меня и взглянув на подвязанную руку.

— И как опасно ранен! — заметил Мемнон, улыбаясь.

Участие Елены и встреча были так обольстительны! Внимательно расспрашивала она меня обо всем, что случилось со мною после отъезда из Москвы.

— Сохранили ли вы мою память? — спросила она между прочим.

Можно ли было не ласкать себя надеждой и не торопиться дать отдых сердцу в сладкой задумчивости?.. Для первого шага к счастью слишком было довольно. Я хотел унести с собою всю полноту впечатления, встал, раскланялся, взглянул на Мемнона, но он с улыбкой дал мне знак, что останется. Я понял этот знак, и сладостное чувство, наполнявшее меня, вдруг исчезло: оно заменилось страхом. Я бросил на Мемнона умоляющий взор, чтобы он помедлил решать мою судьбу, но Мемнон не понял меня; я уехал. Как мученик собственных чувств ждал я возвращения Мемнона. Когда он вошел, я вскочил с дивана из тучи дыму, которым обдавал себя, не замечая того, взглянул, и — сердце замерло.

— Говори, Мемнон, убей меня! — вскричал я, схватив его за обе руки. — Говори! — повторил я с отчаянием, заметив, что он медлит, обдумывая, что ему сказать.

— Успеха еще нет, но надежда не потеряна, — отвечал он, обнимая меня. — Я говорил с теткой своей: ты ей нравишься, она желала бы...

— О, довольно! Не продолжай!.. Я понимаю: Елена не любит меня!

— Напротив, — сказал Мемнон сурово, — если бы это зависело только от Елены...

— Правду ли ты говоришь, Мемнон?

— Дядя всему преграда. Он, не заботясь ни о согласии жены, ни о сердце дочери, выбрал зятя по своему вкусу и нраву.

Если бы можно было высказать, какая ненависть вдруг вспыхнула во мне к неизвестному суженому Елены...

— Кто он такой? Говори! — вскричал я иступленным голосом. Но Мемнон скрыл от меня его имя.

— Мне не сказали, кто он такой, — отвечал он, — но тетка уверена, что это все переделается. Скоро они едут обратно в деревню, и я с ними... Не теряй надежды!

Его слова только увеличили мою безнадежность. «Нет, — думал я, — Мемнон щадит мое самолюбие; меня отвергли, мне отказали в руке Елены! Я не могу уже показаться в доме!» Напрасно Мемнон обнадеживал меня: я молчал на все его слова, и какой-то внутренний ропот на судьбу мучил меня; я изнемогал. Боль сердца отозвалась в ране. Доктор советовал мне ехать на воды за границу. Мемнон то же советовал мне, и я решился ехать. Друг не щадил обольщений сердца, чтобы успокоить меня.

— Сестра кланяется тебе, — говорил он, прощаясь со мной. — Она не могла скрыть грусти своей, как я заметил. Она желает скорого твоего возвращения, а мать ее поручила сказать тебе, чтобы ты не терял надежды, если любишь Елену.

«Не слова ли это, внушающие опасную надежду? Не значит ли это: кинься в пучину — может быть, счастье выбросит тебя на берег рая?» — думал я, смотря пристально в глаза Мемнону.

IV

Мемнон уехал, и я отправился, оживленный несколько обнадеживаниями друга и уверенностью, что я любим. Мемнон обещал уведомлять меня об Елене.

Не описываю моих путевых впечатлений: мои впечатления были нераздельны с Еленой. В Дрезденской галерее, смотря на Роксану Рафаэля, я сравнивал ее с красотой Елены и видел все недостатки дочери Ирода.

Но чтобы вполне блаженствовать в мечтаниях любви, надобно ехать по Рейну, надобно видеть истоки его. В таинственных недрах зарождаются они, как взаимные чувства юноши и девы, торопятся, ропщут на все препятствия, пробиваются сквозь них и падают в объятия друг друга, чтобы течь вместе, неразлучно среди роскошных и диких берегов жизни.

Смотря на отдаленные вершины Альпов, вспомнил я Горную дорогу нашего златоуста поэта:

Четыре потока оттуда шумят —
Не зрели их выхода очи.

Стремятся они на восток, на закат,
Стремятся к полудню, к полночи;
Рождаются вместе, родясь, расстаются,
Бегут без возврата и ввек не сольются.

— И ввек не сольются! — долго повторял я. Непрístupные скалы, окруженные садами и увенчанные развалинами древних рыцарских замков, как лики Дианы Ефесской, отвлекали душу мою от одной печальной мысли к другой. Теперь и прежде! *Теперь* тело развязно, свободно, а дух в оковах; *прежде* — тело было оковано в латы, а дух был свободен; легко дышалось на неприступных верхах гор и скал, над волнами, над пропастями, посреди лесов и виноградников, за гранитными бойницами, за подъемными мостами, под сводами великолепных добровольных темниц, посреди таинственности и чудес предрассудка, неразлучно с мечом, вином, любовью и неутомимую жаждою к славе. Минстрель¹ пел *сирвентес-римот*:

Кто мне внушит благозвучную песнь,
Кто воскресит, оживит мою память
И свиток прошедшего в ней разовьет?
Кто расцветит мои мрачные мысли
И дивные звуки из струн воззовет,
Как голос от сна восстающей природы?
Ах! есть на земле, есть одно существо!
Его светлый взор, как небесное солнце,
Туманы и мрак с отдаленья сорвет
И свиток времен предо мной разовьет!

На берегу быстрого Неккара, впадающего в Рейн, посреди садов, мне слышалась эта песнь минстреля². Я смотрел на заросшую дорогу, которая извивалась к величественным стенам замка... и забывался...

Вот... рыцари стекаются со всех сторон... знамена их плещут в воздухе; оруженосцы отягчены щитами, раскрашенными девизами чести, любви и славы; на оружие сыплются лучи солнца, дробятся радужными цветами... Кривой рог зазвучал... На востовой башне с развевающимся флагом в облаках приветливо отвечают гостям теми же звуками; цепи подъемного моста загремели, кольца железных воротбрякнули, скрипнули засовы и верей... Герольды повещают приезжих... Гордые кони стучат тяжкими копытами по дубовому помосту... Пажи сбегают с крыльца встречать гостей...

На просторном дворе устроены павильоны вокруг поприща; драгоценные восточные ковры свесились через перилы... Судейская ложа украшена оружием, гербами, девизами, и знамена плещут над нею...

Судьи-джюджедуры заняли места. Серебряные власы их рассыпаются по пурпурным мантиям юношескими кудрями... Речи старцев звучны, как кованое оружие во время боя, важны, как голос вопрошаемого оракула...

² менестрель.

И вот... *она*... божество, венчающее победу... появилась, как солнце посреди алмазных, изумрудных, яхонтовых лучей... Трубы грянули, герольды засуетились, рядят чин всему, оглашают законы поединков: «Любовь красоте, слава мужеству, хвала победителям! Настал час храбрых; оружие их омоется потом и кровью!»

Герольд умолк, подал знак; раздался хор минстрелей, сопровождаемый цитрами, бандурами и кастаньетами югларов:

Рыцари! вскиньте взоры на ограду,
Где восседает джюджедуров ряд,
Где дамы сердца мужеству в награду
Бантами чести грудь приосенят!

В ком изнеможет в бою дух врожденный,
Сердце остынет, сила изменит,
Взгляд животворный девы несравненной
Душу пробудит, сердце воскресит!

Новый звук труб. Начинается поле.

Ряды рыцарей в роскошных бронях, сопровождаемые щитоносцами, приближаются к рогатке на конях, покрытых латами; едут медленно, с важностью; забрали опущены. Подле них, на парадных конях, едут дамы сердца; они ведут горделивых своих невольников на цепочках, свитых из лент и цветов. Проехав барьер, они развязывают оковы кавалерам сердец своих и потом продолжают путь к помостам, разбрасывая по поприщу цветы, шарфы, узлы из лент, браслеты, сплетенные из собственных их волос, перья с головы... Рыцари подбирают дары с земли, осыпают их поцелуями и готовятся заслужить оружием звания рыцаря сердца, шарф и девиз своей дамы.

Рыцари становятся строем на двух оконечностях поприща, ждут сигнала, прислушиваются к словам джюджедура, который повторяет закон турнира: «Рыцари! да не поранит никто из вас коня противника своего; мета копьём — лицо и грудь; меч рубит, но не колет. Поднятому или разбитому забралу — пощада!»

Джюджедур ударил три раза в ладоши; сигнал к общему бою раздался. Пришпоренные кони ринулись с мест, земля дрогнула; два строя всадников, приклонив голову, уставив копьё вперед, налетели друг на друга... Казалось, что посреди поприща разразилась громовая туча, рассыпалась искрами и треском; взвилась пыль... Две противные стороны то столкнутся, то расступятся. Но общий бой прерван сигналом — строи разъезжаются. Теперь один на один — по вызову. Вскипела во мне жажда победы... Я пришпорил коня, перелетел через ограду... Кто на меня? Вызываю! Нет создания в природе лучше Елены! Пой, минстрель! славь Елену!

Минстрель запел лей Елене, вместо вызова:

Кто в истомлении, в восторге сердца,
Елены не выдав, осмелится промолвить,

Что видел божество любви и красоты,
Кисть хмеля принял тот за грозд пурпурный
И хладную луну за пламенное солнце.
Слепец! я исцелю тебя от слепоты!

Неизвестный рыцарь, в черной броне, без гербов, без шарфа дамы сердца и девиза, выехал на средину попроща... Это противник, соперник мой — суженый Елены!

Злобно взглянул он на меня, я на него; разъехались, повернули — сигнал подан... Вот он! Брызнули искры из стальной брони... А! вон он! Подо мной суженый Елены! Моли о пощаде!..

«Коня убил! Преступник закона!» — раздалось вокруг... Стрелы со всех сторон готовы были поразить меня, но знамя пощады распростерлось надо мною, и герольд повестил, что конь противника моего убит по неосторожности.

Меня ведут к венчающей победу... это Елена!.. Я преклонил колено... Громкий хор запел славу, а Елена увенчала меня... подала руку, и мы пошли, сопровождаемые хором, джюджедурами и рыцарями. В просторной зале сели мы за круглый стол. Передо мной поставили жареного павлина, которого, по обычаю, победитель должен был распластать на сто частей; потом поднесли огромный бокал векового Гейдельберга. Я поднял бокал... «За здравие Елены!» — хотел сказать я... Где ж она? Нет ее? О, на сто частей разорвалось мое сердце, когда я взглянул вокруг себя... Мрачный замок Гейдельберг, разгромленный самим небом, воздымался на горе, как на острове, посреди моря тумана. По чешуйчатому небу разливался свет луны. Я лежал под деревом на берегу Неккара, смоченный холодной росой ночи...

V

Я приехал в Эмс, начал курс лечения. Вдруг письмо... Рука Мемнона! И только две строчки — только, но сколько блаженства почерпнул я в них! Как, они были красноречивы! как исполнены дружбы! «Приезжай, — писал он, — Елена будет твоею; все препятствия устранены».

Можно представить себе, с каким нетерпением желал я лететь в Россию, но, предполагая ехать обратно, по обещанию брату, через Бессарабию, где он в то время находился, я не мог переменить намерения и, сверх того, я хотел видеть Дунай и взглянуть на Букарест, где был с отцом своим во время войны в 1810 году. Кажется, сама судьба влекла меня по этому пути, чтобы развязать повесть моей жизни.

Из Эмса приехал я в Вену, потом в Буду и оттуда на небольшом купеческом судне, отправлявшемся в Галац, решился пуститься по Дунаю.

Нисколько не заботясь о современных политических обстоятельствах, я совершенно не знал, что делается на берегах Дуная. Я думал только об Елене. Наслаждаясь природой, слушал по вечерам заунывную песню матроса и, проехав таким образом до Галаца, я был бы принужден сделать около четырехсот верст

лишних, чтобы попасть в Бухарест. К счастью, хозяин корабля спросил меня, куда я еду, и сказал, что я могу выйти на берег при Журжинской переправе и проехать в Бухарест прямым путем. Это был подарок для рассеянного. На лодке переехал я в Слободзею и там, наняв *почту*, отправился в столицу Валахии. Никто не спрашивал меня, кто я, откуда, куда еду и есть ли у меня какой-нибудь вид.

Подъезжая к Бухаресту вечером, вдруг увидели мы на самой дороге, сквозь деревья, разложенный огонь и вокруг него толпу людей. Шум и песни раздавались по лесу.

*Суруджи*³ приостановил лошадей, со страхом произнес:

— *Чи есть?*⁴

— Это, верно, табор цыганский?

— *Нуй, нуй, боерь!*⁵ — повторял он, продолжая медленно подвигаться вперед.

Едва проехали мы заворот дороги, толпа вполне открылась перед нами. Над огнем, на козлах, висел котелок, а вокруг него лежали и ходили вооруженные люди в мантах, в скуфьях, в кушмах, в чалмах, в албанской одежде. Страшные, смуглые лица их с отвислыми усами казались от блеска огня раскаленными.

— *Талгарь! Талгарь!* Разбойники! — проговорил суруджи, с ужасом остановив лошадей. — Неудобре, неудобре! — прошептал он еще и готов уже был свернуть с дороги в лес, но стук и дребезг *каруцы*⁶ и топот лошадей обратили на себя внимание толпы. Несколько человек вскочило на коней, и мы были окружены какими-то чудовищами, вооруженными с головы до ног.

— *Стэ!*⁷ — закричали они, заскакав вперед.

Я выхватил пистолет.

— Русский офицер! — крикнул мой слуга, вообразив, что спрашивают: кто?

— *Офицер русяск?* — повторил один из наездников: — *Хэ! Мой!*⁸ капитан Пендедека!

И он поскакал к толпе, между тем как двое стояли спокойно перед лошадьми, а прочие разъезжали вокруг *каруцы*.

Поздно было требовать пути одним выстрелом у целой толпы вооруженных. Я полагал, что явится кто-нибудь знающий по-русски для расспросов, но вдруг тучный всадник, похожий на атамана шайки, подлетел на лихом коне и закричал мне:

— *Офицерь?*

— Да! — отвечал я.

³ кучер (молдав.)

⁴ Что это? (молдав.)

⁵ Нет, нет, боярин! (молдав.)

⁶ телеги, повозки (молдав.)

⁷ Стой! (молдав.)

⁸ Восклицание: мой! — то же, что: ей! (прим. автора.)

— *Хайд, мерже ла Калентино!*⁹ — прокомандовал он без дальних распросов.

Суруджи приударил по лошадям; меня повезли. Вся толпа поскакала вслед за мною, и не прошло нескольких минут, как я увидел новые толпы вооруженного сброда вокруг огней близ селения. Мне казалось, что меня везут на шабаш нечистой силы.

Со всех сторон раздавались дикие голоса, которые пели:

*Ипсиланти фетмаршал,
Дука маре инарал!
Пом-пом-пом-померани-пом!*

Каруца моя и провожатые остановились подле освещенного боярского дома.

Тут только узнал я, что меня привезли в селение Калептино, главную квартиру Ипсиланти, предводителя этеристов.

— *Фетмаршалу а кас? Дома фельдмаршал?* — спросил капитан Пендедека, которого я принял за атамана разбойничьей шайки.

— *Хэ! Ипсиланти содус ку тотта армия ла Тырговешти; нума эфор*¹⁰ *Дука а кас!* — отвечали двое арнаутов, стоявших на крыльце, подле входа в сени, с саблями наголо.

Я понял смысл сказанных слов: «Ипсиланти со всей армией удалился в Тырговешти, и в селении Калентине только эфор Дука». Его-то величали этеристы в песне своей *маре инарал*, великий генерал.

Меня ввели в дом. В передней комнате подле дверей, завешанных красным сукном, стояла толпа арнаутов, в роскошной своей одежде. Они заняты были продуванием, *накладыванием* и раскуркой трубок.

Вслед за капитаном Пендедекой вошел я в комнату, где на диване, свернув под себя ноги, сидел Дука, эфор этерии. *Антерия*¹¹ из шелковой с золотыми полосками ткани распахнулась на полы; красные широкие шаровары переливались под нею, как полымя; все туловище его было обернуто турецкою шалью, за которую заткнуты были на толстой золотой цепи *часорник*¹² с огромною связкою печатей и *басман*¹³; на голове была скуфья из шелковой материи, обшитая бумазеей. Перед ним стоял ломберный стол, а в жирной руке его утонула колода карт; он метал *фараон*. Несколько бояр в серых смушковых *кочулах*¹⁴ сидели вокруг стола, пыхтели дымом и гнули углы на пэ и транспорты.

— *Чи есть?* — спросил Дука.

⁹ Эй, давай в Калентино! (молдав.)

¹⁰ командир (греч.)

¹¹ богатая верхняя одежда

¹² часы (молдав.)

¹³ платок (прим. автора)

¹⁴ шапках (молдав.)

Не ожидая объяснений Пендедеки, я подошел к Эфору, сказал по-французски, что я русский путешественник и что на дороге к Букаресту остановлен его арнаутами...

Я хотел высказать свое неудовольствие за это насилие и просить, чтобы он приказал проводить меня в Букарест или из круга расположения этеристов, но он не дал мне кончить речи, обратился к своим собеседникам, сказал им что-то по-гречески, и они вышли из комнаты. Потом, приглашая меня сесть на диван, хлопнул три раза в ладоши. Явились два арнаута, один с трубкой, другой с *дульчецом*¹⁵ и с кружкой воды на подносе. Я не отказался от азиатского обычного предложения — усладить горечь свою, прохладить сердце и питаться дымом надежды.

Когда мы остались одни, Дука таинственно спросил меня:

— Позвольте узнать, к кому вы ехали?

— Я просто проезжал из Австрии в Россию, — отвечал я.

— Хм! через Австрию! Здесь не дорога, вам надобно было ехать на Черновец, прямо из Австрии в Россию...

— Я хотел проехать по Дунаю, видеть Букарест...

— Нет, скажите, вы можете мне сказать... К господарю?.. Или к князю Ипсиланти?.. Вероятно, депеши...

— Уверяю вас, что я просто еду как путешественник, без всяких поручений.

— Теперь не время путешествовать без цели, — сказал Дука, усмехаясь. — Но все равно, мы понимаем... И во всяком случае, я обязан отправить вас к князю Ипсиланти. Его главная квартира в Тырговешти.

— Помилуйте! зачем мне ехать к нему? — вскричал я.

— Ни для чего больше, как для объяснения ему причины вашей поездки в Букарест. Теперь, милостивый государь, нет сношений ни с господарем, ни с Диваном мимо князя Ипсиланти. *Хэ! мой!* капитан Алеко! — вскричал Дука после сих слов.

Явился капитан Алеко в казацкой одежде из черного сукна.

— Вот этот господин проводит вас в Тырговешти, — сказал мне Дука, отдав приказание капитану Алеке.

Нечего было делать; я вышел.

— Где мой слуга? — спросил я у арнаута, не видя подле крыльца ни *каруцы* своей, ни слуги.

— *Нушти!* не знаю, — отвечал мне арнаут.

— Где каруца?

— *Нушти!* — повторил арнаут.

— Ни моего слуги, ни *каруцы* нет! — сказал я капитану Алеко.

Он стал спрашивать у разного сброда людей, которые стояли на крыльце и ходили по двору.

— *Нушти!* — отвечали все. — *Суруджи* сел и поехал, а слуга пошел вслед за ним.

¹⁵ варенье, похожее на конфеты *rommade* (помадка) (прим. автора)

Я выходил из себя. Слуга мой вскоре пришел весь в слезах и сказал, что почтарь ускакал, а чемодан, положенный на крыльце, пропал.

Я воротился к Дуке и просил его приказать отыскать мои вещи.

— Не наше дело отыскивать ваши вещи, — отвечал эфор этерии. — Подайте прошение в Диван.

Взбешенный, я сел на коня, которого Дука велел дать мне, и поехал под конвоем безобразных воев Ипсилапти. На другой день уж к обеду стали мы приближаться к местечку Тырговешти. С высот над рекою Яломицей я увидел главную квартиру этеристов. Она походила на табор и толкучий рынок; повсюду копошились вооруженные люди в молдавской, сербской, арнаутской одежде, в лохмотьях и в кованых золоченых нагрудниках, нарамниках и набедренниках.

Въезжая в Тырговешти, я увидел тот *Священный батальон*, который под знаменем возрожденного Феникса готовился пожать славу и бессмертие. В черных полукафтаньях, с высокими черными мерлушковыми шапками, загнутыми набок и украшенными серебряною Адамовою головою спереди, воины бродили по городу в ожидании великой своей будущности.

Мы приехали к одному дому с большим крыльцом под навесом. Тут развешивалось знамя этерии, на котором вышит был феникс с греческою надписью: «Возрождаюсь из собственного праха». У входа подле дверей стояли двое часовых с сложенными накрест ружьями.

Это был *курте господаряск*, двор, или дворец господарский. Соскочив с лошади, я хотел идти на крыльцо, но капитан Алеко удержал меня.

— Не сюда, — сказал он, — это *священное крыльцо*, по которому никто не смеет всходить, кроме самого фельдмаршала.

«Плохо, — подумал я, — если к идолу храма ходят с заднего крыльца!»

— Что за люди? — спросил напятай Алеко, увидя нескольких человек верховых в мантах подле бокового подъезда. — Пандуры!¹⁶ — отвечали они гордо. — От *вайводы* Тодора Владимиреско, с капитаном Фармаки.

То были передовые начальника, или, лучше сказать, атамана пандуров Малой Валахии, который, пользуясь возникшими после смерти валашского господаря Каражди смятениями, по случаю этерии, или греческого восстания, собрал пандуров, сербских гайдуков, валашских талгарей и все, что было дружно с темной ночью да с острым ножом, объявил себя воеводой и защитником отчизны от ига греческих господарей, назначаемых Портою, проник с шайкою своей в Букарест, овладел Диваном, заставил воротиться Каллимахи, назначенного в господари Валахии, казнил бояр, привел всех в ужас и заставил разбежаться на все четыре стороны.

Ипсиланты думал в нем найти поборника и встретил противника, который, однако ж, решился приехать к добровольному *архистратигу*¹⁷ Греции.

Взойдя по крыльцу *профанов*¹⁸, я ожидал, что меня введут в *Периррантириа* и окропят водою, как вступающего в храм громовержца Зевса, но очутился в

¹⁶ отряды легкой кавалерии на Балканах

¹⁷ военачальнику, вождю (*греч.*)

¹⁸ простонародья (*греч.*)

передней, где было несколько, вероятно, значительных лиц штаба этерии. Пока доложили обо мне Ипсиланти, я присел подле какого-то чиновника в казакине. Посмотрев на меня, он как будто отгадал, что я русский, и обратился ко мне с вопросом, не служить ли я приехал к Ипсиланти. Разговорившись с ним, я желал знать, что за особа в больших шитых эполетах, спасенных, вероятно, от выжиги и прицепленных к мундиру не мундиру, а к чему-то вроде кацавейки.

— Это Орфано, *фичеру ди кына*¹⁹; он был в Одессе служителем у купца Бокара, а здесь *инарал*. А вот другой — это Лассапи; был фактор в Песте, а здесь комендант Терговишта. *Драку шти!*²⁰ Чорт знает, зачем я приехал сюда! Тут все начальники. Правду говорит греческая пословица: «Где соберутся три грека, там всегда четыре начальника: их трое да чорт четвертый». Вот князь Георгий лихой, а это... хм!

Собеседник мой не успел еще сказать мне имен и происхождения всех *стратигов, эфоров, капитанов*, тут бывших, как меня позвали к Ипсиланти.

Пройдя одну комнату, передо мной отворили двери кабинета; я вошел. В широких креслах подле стола сидел смуглый, худощавый генерал; на плеча его накинута была греческая пурпуровая мантия, с длинными до полу рукавами.

— Какую повесть привезли вы нам? — сказал он, обращаясь ко мне, и, не дожидаясь ответа, приказал выйти сидевшему подле стола писцу, которому, как казалось, что-то диктовал.

— Вы откуда? — спросил он торопливо по выходе писца.

— Я русский и ездил за границу на воды, — отвечал я и рассказал все приключения свои со времени вступления на берега Валахии.

Казалось, что Ипсиланти надеялся видеть во мне какого-нибудь тайного к нему посла. Глаза его горели ожиданием приятной новости, но, выслушав меня, он принял пасмурный вид и хотел что-то спросить еще, как вдруг вошел кто-то вроде адъютанта и доложил о приезде Тодора Владимиреско.

— Пусть войдет, — сказал Ипсиланти важно. — Извините, — продолжал он, — мне нужно переговорить; войдите в эту комнату на время.

И он показал на двери. Я вошел; это была спальня. Справа между печкой и стеной был широкий, крытый густым пунцовым трином диван, заменявший ложе; на свернутом в головах шелковом матраце лежал ночной колпак; влево от двери другой диван; напротив — стенные шкапы и посредине *образная*.

От нечего делать я развернул лежавшую на столике книгу, переплетенную в бархат. То был «Триодион, повелением и иждивением Всесветлейшей Княгини Елены, Божиею милостию начальницы и владычицы земли Влашкою, супружницы Пресветлого господара Иона Матфия Бесарабы, в Господарской их типографии, яже в Столечном граде Терговишти. В лето бытия мира 7157».

Едва я успел прочесть это, как раздался громкий голос:

— *Мы фоарте букур, кы вы вдэ сенатов, ринсе!*²¹ — Это обыкновенное молдавское приветствие: «Очень рад, что вас вижу в добром здорovyи».

¹⁹ собачий сын (*прим. автора*)

²⁰ Чорт знает! (*молдав.*)

²¹ князь (*франц.*)

Любопытство заставило меня сесть на диване подле самой двери, так что весь разговор Ипсиланти с Тодором был мне слышен.

— Садитесь, господин Владимиреско, — сказал Ипсиланти по-французски. — Нам давно пора переговорить с вами лично.

— Готов слушать, — отвечал Тодор.

— Вы знаете уже ту великую цель, для которой я сюда прибыл?

— Как видно из ваших собственных прокламаций, вы приняли на себя труд освободить Грецию от ига турецкого.

— Так точно. Приняв на себя начальство над этерией, я воззвал к народам, угнетенным игом варваров, и на первом шагу встречаю противоречие — в ком же? В тех, которые должны были торопиться под знамена свободы!

— Диван княжества желал знать: кто возложил на вас великое дело освобождения Греции и кто уполномочил вас к воззванию на общее восстание против турков? Диван послал к вам депутата Павла Македонского...

— Полно-те, сударь: этот депутат был от вас, а не от Дивана!

— Это ваше предположение... Не я, а Диван просил вас сообщить ему ваше полномочие.

— Кто уполномочил меня? — сказал гордо Ипсиланти. — Вы знаете, кто я?

— Знаю. Вы служили в русской службе генералом, я служил поручиком, но здесь не Россия.

— Неужели вы думаете, что я обязан открывать Дивану Валахии тайны европейских конгрессов? Неужели Диван не постигает, к чему клонится столько уже лет политика всех европейских держав?

— Для исполнения целей своей европейской политике не нужно было поручать вам собирать в Молдавии и Валахии бродяг и нищих, чтобы избавить Европу от турок.

— Вы, сударь, дерзки! Вы враг своего отечества! Ваша цель пользоваться смутами и водить своих бродяг, пандуров, на грабеж!

— Ваши титулы не лучше моих!.. Да что об этом говорить! Вы сделайте, что знаете; я буду делать, что я знаю.

— У нас общий враг, сударь, и мы должны действовать общими силами, а не допрашивать друг друга о правах.

— Ваши враги — турки, а наши — греки фанариоты. Разница видна из ваших и моих прокламаций... Ваше поле в Греции — идите за Дунай, и наше дело спровадить греческих господарей туда же. Здесь им не место — довольно им собирать *дьязму*²² с княжеств; пусть идут под ваше знамя освободить Грецию от ига и избавить нас от своего ига. Что мы за ферма для вас! У вас есть свои земли и рабы — дерите с них хоть три кожи!

— Господин *слуджар*...²³

— *Вайвода*, а не *слуджар*, господин Ипсиланти, — сказал Тодор, стукнув саблей о пол.

— Извольте молчать!

²² *Дьязма* — десятая часть (прим. автора)

²³ Чин Тодора при князе Валашском (прим. автора)

— *С араку да мини!*²⁴ Как я вас боюсь!

— Я вас скоро заставлю бояться!

— Ну до тех пор прощайте!

— Остановитесь, господин Владимиреско!

— Я стоять не люблю; если угодно, сяду. Языком биться также не люблю.

— Собственно из предостережения вас и чтобы предупредить раздоры, я должен вам сказать...

Ипсиланти стал говорить тихо, я не слышал ни слова. Вдруг он подошел к двери спальни; я отскочил от нее и сел на диван.

— Пожалуйте сюда, — сказал он мне по-русски, отворяя дверь.

Я вошел в кабинет и с любопытством взглянул на Тодора, сидящего на диване в лиловом бархатном, шитом золотом фермеле; за поясом его торчали два пистолета. Турецкая сабля золотого чекана, осыпанная дорогими камнями, перегнулась через колено. На голове была красная феска, а подле, на диване, лежала одноцветная с фермеле капа, или скуфья, также шитая золотом. Он был смуглый, с длинными усами человек, с глазами, как уголья.

— Вы отправитесь обратно; я дам вам прикрытие до Леова, — сказал мне Ипсиланти, хлопнув несколько раз в ладоши.

Вошел прежний докладчик.

— Капитан Христиари! назначьте отряд из двадцати человек проводить их до Леова, — сказал Ипсиланти. — Кланяйтесь моим знакомым в России, — продолжал он, обратясь ко мне. — Скажите им, что дела мои идут хорошо. Прощайте!

«Драма кончилась комедией», — думал я, выходя из кабинета.

Христиари проводил меня из *курте* на квартиру, в дом какого-то боярина. Тут до изготовления к отъезду угостили меня обедом.

— Нет, боярин, здесь умрешь с голоду! — сказал мне мой Иван, возвратясь из кухни, где также угощали его обедом. — Нет! я не едок с цыганами! Да это просто зараза... прости Господи!.. Намесили какой-то черной муки в котле да и вывалили на грязный стол комом; принесли вонючего творогу в засаленной тряпке да и говорят: *пуфтим!*...²⁵ «Нет, господа! Я не могу есть этого *пуфтим!*» — сказал я, да и встал из-за стола; помолился Богу, да и пошел.

Жаль мне было смотреть на голодного Ивана, но нечем было помочь. Лошади были уже готовы.

VI

Мне дали доброго коня, оседланного турецким седлом. Арнаут подвел его, держа за мундштук; я взял шелковый повод и засел, как в вольтеровских кре-

²⁴ Это выражение слово в слово: «бедный я!» Но от тона, которым произнесено, значит почти то же, что «чорт меня возьми!» (прим. автора)

²⁵ просим (молдав.)

слах. Мой новый капитан с 20 арнаутами гарцевал уже по двору в ожидании, пока усядусь я на седле и двинусь с места.

Мы отправились вдоль по Яломице на Урзичени. Почти в каждом селении мой капитан требовал себе *ватаву*²⁶, требовал *фатир ши манынк*, а потом *ракю ши жин*»²⁷.

Эти частые закуски ужасно бесили меня; зато мой Иван был сыт и доволен.

— Ей-Богу, здешняя *ракю* гораздо лучше нашего пенника, — говорил он каждый раз, когда ему подносили большой пагарь фруктового спирту. — А жизнь дешевле лавочной воды!

Народ здесь, кажется, привык к посещениям и требованиям неожиданных и незваных гостей, которые распоряжаются в деревнях, как в своем доме. Беспрекословно поили и кормили нас и лошадей наших, не спрашивая, что мы за люди. Двадцати человек каларашей²⁸, и особенно арнаутов, достаточно было, чтобы меня везде величали *мариета*²⁹. — Здесь наружность человека служит вместо вида, а умение приказывать есть уже право на всевозможные беспрекословные требования.

Ни *малай*, ни *плачинды*, ни *лапти-акру*, ни *брынза* не нравились мне; до самых Урзичень питался я только яйцами и *лапти-дульче*³⁰. В Урзиченях заехали мы в кафэнэ, но и тут я должен был довольствоваться жареной бараниной, соленой рыбой, каракатицами, маслинами, чашкой кофе и трубкой. На третий день мы приехали в Рымник, памятный победою Суворова в 1789 году, и остановились в доме одного бояра, где квартировал начальник небольшого отряда войск Ипсиланти.

Без дальних церемоний проводник мой передал меня ему, как пароль, а сам, закусив и осушив *око* вина, уехал, не пожелав мне даже доброго пути.

Новый капитан, которому я был сдан на руки, чтобы доставить меня здрава и невредима в Леово, был довольно молодой мужчина, смуглый, но приятный, хотя и суровой наружности, в черной венгерке, перепоясанной шелковым снурком — портупеей турецкой сабли, в черной скуфье, шитой серебряными снурками.

Я удивился, когда он подошел ко мне и сказал:

— Капитан Раджул казал мне, што вы русский; едете от князя Псиланта до Каподистрия.

— Я русский, — отвечал я, — еду в Россию, но не от князя Ипсиланти и не к Каподистрию. — И я рассказал ему случай, который занес меня в Валахию.

— Хм! — произнес капитан, пыхнув дымом. Тем и кончился наш разговор. Поездка отложена была до утра, потому что уже смерклось. Усталость от верховой езды томила меня, и я уснул мертвым сном на мягком диване.

²⁶ приказчика (молдав.)

²⁷ Квартиру и обедать; водки и вина (прим. автора)

²⁸ вершник, верховой (прим. автора)

²⁹ Ваше величие (прим. автора)

³⁰ М а л а й — хлеб из кукурузной муки, плачинды — слоеные пироги; л а п т и - а к р у — кислое молоко; б р ы н з а — творог; л а н т и - д у л ь ч е — сладкое молоко (прим. автора)

— Время на конь! — сказал мне капитан чем свет, и я должен был расстаться с спокойным ложем.

— *Коня крылатого!* — вскричал он, сходя с крыльца, и, не ожидая меня, вскочил на коня, которого ему подвели, и поехал, распевая:

Што ти е, Стано,
Што ти е, кузум?
Ах! беним Стано,
Тъ болна лежишь!..
— Глава мъ боли,
Треска мъ втреси!
Ах! биним Аго,
Ке-да я умру!
— Не бойсе, Стано!
Не бойсе, кузум!
Ах! беним Стано,
Иа ке-тъ пишу
Три хаймалишки,
Но то за треска,
Друго за глоба,
Троти за зло-болезь!³¹

Я заучил его песню, пока мы поднялись на гору за местечком. Влево вздымался Карпат; вправо, по равнине, исчезал в тумане Рымник.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я капитана, — неужели в такой маленькой речке могло потонуть целое войско?

— Мутна тече риека валовита,
Она валья древлъе и каменье, —

отвечал он мне и потом запел снова:

Што ти е, Стано...

— Вы, верно, из болгар? — спросил я снова, желая завести с ним разговор.

— Сербии, — отвечал он мне отрывисто и начал муштровать своего лихого коня и разговаривать с ним.

³¹ — Что с тобой, Стано?

Что с тобой, друг мой?

Милая Стано,

Ты заболела!

— Голову ломит,

Холод по членам.

Ах! милый Аго!

Если умру я!

— Не бойся, Стано!

Не бойся, друг мой!

Я приготовлю

Три талисмана.

Один от лому,

Другой от дрожи,

Третий от язвы —

От злой болезни.

(Пер. автора.)

К обеду приехали мы в Фокшаны и остановились в монастыре, обнесенном высокими стенами.

Один из монахов знаком был моему сербу. Радушно встретил он нас и угостил сладкими постными блюдами из рыбы и пилава... Целую банарилку вина принес он из погреба. Серб пил вино, как воду; оно его развеселило.

После обеда я взошел на стену монастыря и наслаждался видами окрестностей. К северу тянулись на нет отрасли Карпата, ограничивая собою реку Сырет; к востоку ровная площадь, ограничиваемая в синей дали Задунайским берегом и возвышениями над крепостью Мачипом; к югу безграничная степь, как море, а запад весь загражден лесистым Карпатом; у подножия его, верстах в десяти от Фокшан, по холмистому скату расстилались славные виноградники Одубештские.

Когда я воротился в келью, на столе стоял уже огромный стакан светло-янтарного цвета.

— Пие, брате! — сказал мне серб, подавая стакан. — Пие! меж нама здравье и веселье!.. В раз!.. Так! — прибавил он, поглаживая усы.

— Еще! — вскричал он, протянув ко мне одну руку и наливая другою вино.

— Теперь пие, брате, за здравье моей сестрицы Лильяны! Пие руйно вино! Была у меня сестра, да не стало!

Эти слова произнес он так, что голос его как будто ущемил меня за сердце; из глаз его капнула слеза в стакан. Он приподнял его и смотрел долго на свет, как будто ожидая, чтобы слеза — горечь сердца — распустилась в вине лекарством от боли его; потом он чокнулся со мной и выпил залпом.

— Где ж ваша сестра? — спросил я невольно, взяв его с участием за руку.

— В Руссие, — отвечал он.

— Вы были в России?

— На службе.

— Зачем же вы оставили Россию?

— Так надо было! — сказал он, садясь на диван. — Так надо было, — повторил он и замолк, но заметно было желание его облегчить себя от скопившихся воспоминаний рассказом.

— Отчего же надо было? — спросил я его.

— А вот, — отвечал он, — отец мой жил в особитом приятельстве и побратимстве с отцом Лильяны; еще в годину сербского воеванья с турками дали они друг другу слово породниться по детям, а в десяту годину отец Лильяны взял меня в полк свой, и жил я у него, как родной, и приехал с ним в Москву, а потом пошли на воеванье с французом. По возврате из Парижа отец Лильяпы покинул службу, а мне сказал: аиде служить еще царю и царству, пока будет твоя невеста на возрасте. Любил меня он, как сына, да не любила меня его *жентурина*, откинула сестрицу от сердца, разладила слово, раздружила дружбу, змея люта, Божья отпаднице!.. А как любила своего жениха моя Лильяна: звала златоём, соколом, милойцем! Давала залог за сердце!.. Вот ту был тот залог... ту был лик Божий да образ сестрицы, да обреченья перстенъ... Все возвратил ей... Сестра,

сестра, моя сладко *рано!*..³² — Говоря сии слова, он показал мне пустую ладонку, висевшую у него на шее на голубой ленте.

— Вот прошли три года еще на службе. Два года не видал я сестрицы; минуло ей восемнадцать лет. Мыслью: скоро будет она моею! Да приехал ко мне брат Лильяны и говорит: любит она другого, не ездь, не бери ее в жены по отцовской воле... «Правда ли то?» — спросил я. Он положил руку на сердце. «Ну! будь счастлива, Лильяна, — не насиловать сердце!»

— И она изменила? — вскричал я, тронутый рассказом его.

— Над сердцем две воли, брате, — своя да Божья. Я отписал к отцу, дабы не ждал меня, а сестрице возвратил залог... Бог с нею! Ту ни каке надежде, ни другого суда, ни спасенья нема! Ништа не поможе, кад сердце от сердца отпаде!

— Может быть, ее принудила мать отказаться от вас?

— Кад нема у своего сердца совета, чуждое сердце правит его на все четыре страны!

— Что ж вы: писали к невесте своей и ее отцу?

— Отписал кратко: «Отчизна моя Сербия вздымает оружие на своего притеснителя турка; не время мне думать теперь о женитьбе, еду на родину, на воеванье; *бритка сабля* моя невеста!.. *Нек погинет юнак*³³ *на юнашству!*»

Этими словами он прервал рассказ свой и упорно молчал. С сожалением смотрел я на его суровое, но приятное лицо. Странны казались мне высказанные им понятия, но сколько было в них снисходительности к слабому сердцу! Без жалоб на судьбу и на людей он покорялся предопределению, несмотря на то что для души его не оставалось уже счастья на земле. С Лильяной все для него погибло; по так решительно отказаться от всех надежд, так сурово поступить с самим собою... то было бы непонятно, невозможно для каждого, кто сколько-нибудь дорожит жизнью и ее соблазнами!

На другой день рано мой добрый серб сказал мне: «Ну, аиде путем с миром! Не забудь сербина Радоя Вранковича!»

— Не забуду! — отвечал я и пустился в дорогу, сопровождаемый двумя арнаутами из сербов.

VII

Через два дня я был уже в Леовском карантине. Шестнадцать дней, проведенных в нем посреди атмосферы, изобретенной Гитоном де Морво, показались мне столетиями, во время которых повторилось все прошедшее, со всеми своими загадками, радостями и горем.

Эту тоску вознаградило свидание с братом в Бендерах. Но я у него недолго пробыл; он был снисходителен к торопливому моему сердцу. Через две недели я уже подъезжал к Москве. Сердце не находило места в груди. Близость к счастью выразилась во мне страданием, черные мысли пугали меня: то думалось

³² заря (прим. автора)

³³ у балканских народов — храбрец, удалец.

мне, что я уже опоздал, Елена влюблена в другого, — и я приказывал ямщику ехать тише; то отец выдал ее насильно, и она умирала от тоски, молила меня, чтобы я торопился, — и я гнал ямщика.

Подъезжаю к дому Мемнона; ворота заперты, ставни притворены... я вздрогнул... Что это значит? Где Мемнон? Дворник не знает.

Я остановился у своих родных. На другой же день узнал я, что Елена в Москве. Но каким образом явиться мне в дом?

Я решился написать письмо к ее матери: просил ее уведомить меня о Мемноне. С нетерпением ждал я ответа; ответ принесли... «Одеваться!» — вскричал я, как безумный. Мать Елены писала: «Ожидаю вас к себе и лично хочу поговорить с вами о вашем друге».

Через несколько минут я уже был перед нею. Она приняла меня как родного, представила мужу своему как друга его племянника Мемнона и поразила меня известием, что Елена больна и что они приехали в Москву для пользования водами. Я едва мог продолжать разговор, когда она сказала мне о том.

Тщетно ожидал я выхода Елены. Потеряв надежду ее видеть, собирался уже домой, но слова отца и матери — «мы вас ожидаем обедать, попросту, без чинов, как родного» — оживили меня. Если б и взор Елены подтвердил то же! Но ее не было...

Я приехал к обеду. Елена не вышла к столу, но отец и особенно мать Елены так занимались мной, так осыпали расспросами и ласками, что не было мгновения, которое мог бы я посвятить мысли об Елене.

Во время утреннего визита я был так рассеян, что забыл спросить о Мемноне, за обедом, однако ж, я вспомнил об нем.

— Так и вы не имеете никакого известия об нем? — спросил отец.

— Решительно никакого, — отвечал я с удивлением.

— А я только что хотел от вас узнать что-нибудь. Может быть, дружбу он предпочитает родству.

— Бог знает, что с ним сделалось: он вдруг пропал из Москвы; даже не простился с нами, — сказала мать, — и с тех пор ни слуху, ни духу.

— И никто не знает, куда он поехал? — спросил я.

— Никто. Однако ж до нас дошли новости очень неприятные: говорят, что он совсем потерялся.

— Мемнон потерялся?

— Да! Слава недобрая, — продолжал отец. — Влюбился в какую-то горничную и увез ее. Продал свое имение близ Москвы, купил другое в захолустье и никого знать не хочет... Впрочем, и хорошо делает... После подобного поступка возможно ли показываться на глаза?

— О, не может быть! — вскричал я невольно. — Мемнон не унижится до такой степени!

— Э-эх, молодой человек! Чего не делает своя воля и богатое наследство? Рано Мемнон вышел из отцовских рук — вот вся беда.

— Неужели вы не знали Мемнона и понятий его, что так говорите об нем, — хотел я сказать, как вдруг вошла Елена. Я онемел, смотрел на нее... и не

верил своим глазам... Та ли это Елена, которую я видал не более, как за несколько месяцев? О, это была та же Елена, но с томным взором вместо живого, с бледностью на лице вместо румянца; слабая вместо воздушной, быстрой; молчаливая вместо игривой, беззаботной, говорливой Елены.

— Вы не узнаете меня? — сказала она тихим голосом, с насильственной улыбкою. Она теперь еще поправилась, — сказала мать: — воды ей помогли!..

— Бог знает! — сказала Елена на слова матери.

— Твоя собственная неосторожность виною болезни твоей, — продолжала мать. — Пришла же охота сидеть по вечерам на крыльце... Это было вскоре после вашего отъезда... осень была сырая... долго ли простудиться...

Я покраснел от слов: «вскоре после вашего отъезда!» «Ах, Елена, Елена! Ты пожертвовала для своей грусти здоровьем!» — думал я, взглянув на нее, и мне казалось, что слова матери и ее пристыдили. Как она была хороша! «Задумчивость ее принадлежит мне, — говорило мое сердце. — О, Мемнон! если бы ты был здесь, ты передал бы ей мои чувства... Но объясняться самому... века пройдут — и я не осмелюсь сказать Елене, что я ее люблю».

Меня принимали как родного. Часто проводил я по целым дням близ Елены, но болезненная слабость как будто пересиливала чувства — и она была задумчива, грустна, молчалива, а я становился час от часу дичее, не знал, что говорить, боялся даже встречаться с ее взорами.

«Курс вод был кончен — и все кончено», — думал я. Начались сборы, и я готовился уже на разлуку, но неожиданное приглашение от отца и матери ехать с ними в деревню оживило все мои надежды.

Во время дороги я никому не уступал забот о спокойствии Елены. По приезде в деревню мне было дано право водить Елену под руку во время прогулок, которые предписаны были ей доктором. Я ходил с ней часто один, говорил ей обо всем, кроме того, что хотел бы сказать ей, а она была постоянно уныла. Дни проходили; мы как будто таили друг от друга чувства свои и, кажется, вечно остались бы в таком грустном положении, если бы сама мать не начала говорить мне об Елене.

— Елена совершенно переменялась, — сказала она, — но эта перемена не может быть следствием болезни... Мне кажется, что и у нее и у вас есть какая-нибудь тайна... Не знаю, кого первого допросить?.. Зачем же таить от отца и матери? — И с сими словами она так проницательно взглянула на меня, что я вспыхнул и, как безумный, схватил ее руку и начал целовать.

— Мемнон говорил мне... — продолжала она. — Счастье Елены для меня всего дороже... я нисколько не противлюсь... Муж мой также вас полюбил... О, как я счастлив! — вскричал я и, кажется, тысячу раз повторял ей одно и то же, между тем как она называла уже меня сыном своим и читала наставления о вечной любви к жене, о верности, об обязанностях мужа, о приданом... и наконец взяла меня за руку, и я очутился перед отцом.

— Жена объявила мне ваше желание, — сказал он, — я не прочь.

Призвали Елену, спросили ее согласия.

— От вашей воли завишу я, — отвечала она, и отец и мать благословили нас.

В восторге собственном мне казалось, что все разделяло мои чувства. Задумчивость Елены приняла в глазах моих другой смысл: это томность любви, которая так пристала ко всякой женщине; это нетерпеливость сердца насладиться скорее счастьем, — думал я и во все непродолжительное время приготовления к свадьбе был в каком-то припадке безумия, от которого опомнился тогда уже, когда мысль — «она твоя!» пробудила меня от очарования.

Что ж она не радуется? Что ж она так холодна? Что ж она не сожмет меня в своих объятиях и уста ее неподвижны? Неужели от болезни иссяк в ней весь огонь любви? Что ж она не отвечает на ласки ласками?

Я стал мужем Елены, но с первых минут сбывчивости желаний она заразила меня своею грустью, задумчивостью и молчаливостью, только не холодностью — нет, я не мог быть холоден к ней! Как птицелов, я расставлял силки, чтобы изловить нежное чувство ее ко мне, но оно в ней, кажется, и не водилось никогда, как райская птица на севере.

Медленно проходили дни. О Мемноне я не имел никаких известий. В одно и то же время ни дружбы, ни любви — тяжело!

Через год счастье порадовало меня рождением прекрасного младенца, совершенно похожего на мать свою. Как будто заменяя чувства ее, он мне улыбался, и мне казалось, что улыбается мне сама Елена.

Я почти не отходил от него, когда он спал; садился близ колыбели и ожидал его пробуждения.

Однажды я упомянул о Мемноне при няне, которую наняли мы для ребенка.

— Позвольте узнать, — спросила она, — не про Мемнона ли Васильевича вы изволите говорить?

— Ты его знаешь?

— Вряд ли у кого еще есть такое имя, — сказала она, — потому-то я и узнала его.

В самом деле, отец Мемнона выбирал всегда странные, малоупотребительные имена для детей своих: сестра Мемнона называлась Фомаидой.

— Но где ж ты знала Мемнона? — спросил я.

— Он бывал в нашем доме, — отвечала няня. — Ах! сударь, если бы порадовали меня, — продолжала она, вздохнув, — не изволите ли вы знать что-нибудь про Веру Ивановну?

— Про Веру Ивановну? — повторил я.

— Как бы хотелось проведать мне про этого ангела! Достиг ли-то Мемнон Васильевич до своего желания?

— Но кто такая Вера Ивановна?

— Она, сударь, — отвечала няня, смутясь, — она благородная, воспитанница барыни... Барыня взяла ее к себе на воспитание из своей дальней деревни, что купил Мемнон Васильевич...

— Он купил деревню?

— Село Шарково, — продолжала няня. — Барыня думала, что он женится на барышне, а он полюбил Верочку. Барыня прогневалась да и послала ее в деревню, а Мемнон Васильевич узнал, что она приписана к селу Шаркову, и купил село... Да от барыни не утаилось — она и отошли голубушку дочку свою в соседский монастырь, на руки к знакомой игуменье, чтобы хоть постричь ее, да не выдавать Мемнону Васильевичу.

— Дочь свою? — спросил я с удивлением.

— Виновата: Веру Ивановну, сударь, не дочку, ей-Богу, не дочку! — почти вскрикнула, спохватись, няня.

Рассказ няни пояснил мне недобрые слухи про Мемнона. Я не заботился о подробностях, в которых должно было что-нибудь скрываться; мне нужно было знать только, где он. Расспросив, в какой губернии и в каком уезде село Шарково, я немедленно пустился в дорогу.

VIII

На пятый день я подъезжал уже по проселку, извивающемуся между волнами золотых колосьев барского поля, к селению, которое тянулось в одну линию под грустным еловым лесом. То было Шарково. Проехав ряд курных изб и деревянную церковь, я увидел помещичий дряхлый дом с полуразрушенной оградой; двор зарос густою травой, как заповедный луг; повсюду запустение.

«Куда я приехал? Может ли быть, чтобы здесь жил Мемнон?» — думал я, приказывая остановиться подле ворот. Кого спросить? Тут, кажется, ни души нет. В стороне, подле дома, где висела на перекладине деревянная сторожевая доска, пошевелилась человеческая фигура: это был седой старик, с клюкою в руках.

Соскочив с брички, я подошел к нему.

— Кто здесь помещик?

— Помещик? — отвечал он, сняв шапку и почесывая голову...

— Не Мемнон ли Васильевич Пальмирский?

— Так, так... боярин.

— Дома он?

— А может, и дома. Спрошу у его милости дворецкого.

Я взбежал на крыльцо; навстречу мне вышел слуга.

Я узнал в нем слугу Мемнона. Он так обрадовался мне, что начал целовать мои руки.

— Где барин?

— В монастыре, сударь.

— Как в монастыре?

— Они изволят каждый день ходить к обедне в соседний монастырь.

— Мемнон, Мемнон! — вскричал я. — Что ж вы тут делаете?

— Бог знает что. Вот уж с полгода приехали и живем, как изволите видеть...

Вслушиваясь в слова старого Никона, я проходил между тем по комнатам, в которых воздух был заражен гниlostью; на стенах обои покрыты были пылью и паутиной. Кое-где стояли дряхлые столики и стулья, на которых из-под оборванной кожи торчала ключьями конская шерсть. Стекла в окнах от времени потускнели, сделались радужного цвета. В одной из угловых комнат стояло старое канапе, на котором раскинута была бурка и в головах лежала кожаная подушка; у стен пустые шкапы с отбитыми дверцами...

— Боже мой! неужели здесь живет Мемнон?

— Как видите, сударь, — отвечал Никон со слезами на глазах и стал рассказывать мне про барина своего.

Такой богомольный стал, что и Бог ведает, — говорил он, — посадит меня подле кровати, да и велит читать, а сам лежит, как мертвый. А как прослышит колокол в монастыре, вскочит и идет... станет на паперти, да и молится. Вот уж полгода ведем такую жизнь... Хоть бы вы уговорили его...

— Скоро он будет?

— Теперь скоро.

Я бросился на канапе, закрыл лицо руками и не мог слушать ропота старика на своего барина. Судьба Мемнона приводила меня в содрогание.

— Дай мне чаю, Никон, — вскричал я, чтобы удалить его от себя.

— Чаю? — отвечал он, горько улынувшись. — Да мы, сударь, позабыли, как и пьют-то его!

Я взглянул на Никона и не знал, что говорить.

— Разве молочка прикажете... Барин ничего не изволят кушать, кроме хлеба да воды.

Никон вышел, а я, как полоумный, вскочил с места и заходил по комнате — думал о Мемноне, о себе, думал о прошедшем, сравнивал надежды юности с наступившею действительностью, как роскошный цвет с плодом, побитым судьбой, — искал, не осталось ли чего-нибудь для будущности, — и не находил.

— Барин идет! — вскричал вдруг прибежавший Никон. Я бросился навстречу и почти без слов упал в объятия бледного, со впалыми глазами человека, в длинном черном сертуке.

— Ну, счастлив ли ты? — спросил он меня. Безгласно смотрел я на Мемнона и снова обнимал его; слезы катились из глаз моих градом.

— Елена твоя, — продолжал он, — кому же ей принадлежать, кроме тебя, которого она любит? Я это видел. Отец прочил ее за серба Вранковича, но я откровенно сказал Вранковичу, что она не может быть его женою, потому что любит другого. Добрый серб отказался от прав на руку Елены, не имея прав на сердце.

— Вранковича, Вранковича? — повторял я совершенно безотчетно, и мне казались слова Мемнона насмешкою — я смотрел на него безумным взором.

— Обними же меня еще, — повторил он. — Я рад, что ты обязан мне чем-нибудь... Ты счастлив, и для меня довольно...

— О, спасибо, спасибо, друг! — вскричал я, сжимая его в судорожных своих объятиях.

— И я счастлив, — продолжал Мемнон, — хоть, может быть, не всякий поймет счастье мое... Пойдем, я тебе расскажу.

Молча проходил я с Мемноном по пустым комнатам до его спальни.

— Ты счастлив? — сказал я, без всякого внимания садясь подле него на канапе. В то время в мыслях моих были Елена, серб и сам я... три существа, погибших для счастья.

— Если бы ты видел, — вскричал Мемнон, всплеснув руками, — если бы ты видел ее! Я не в состоянии описать тебе красоты, которая выше человеческого понятия!.. Я могу только назвать ее по имени... ее зовут Верой!.. Я мог бы тебе показать ее, да это было бы соблазном чувств; я и сам не смею на нее смотреть... Довольно появления, присутствия ее, чтобы испытать всю полноту блаженства, какое только возможно на земле... Не спрашивай меня, кто она!.. К чему этот вопрос? Ты видишь: я здесь не в кругу людей, которым нужно имя, звание, значение в свете для тех, кого они хотят удостоить своей любовью или дружбою... Это не какая-нибудь светская красавица, которая никуда не годна без своего богатства, пышных украшений, без выученных приличий и приемов, без своих титулов и золота... Нет! она не героиня романа, которую, не чувствуя любви, можно уверять в любви; с которой одно наслаждение — объятия; которую можно осыпать нечистыми поцелуями и потом возненавидеть... Нет! она недоступное существо для всего, что пахнет землею!.. О, добра ближняя, искренняя моя! Вся добра, и порока нет в ней!.. Голубица моя в покрове каменне!..

Я слушал Мемнона и невольно забыл собственную судьбу; он пробудил во мне сострадание.

— Друг мой, — продолжал он, — ты знаешь сладость любви, тебе понятны все наслаждения взаимности; но ты обладаешь чувствами той, которую любишь; ты властелин ее с той минуты, как она твоя; ты все для нее, у тебя нет счастливого соперника...

— Счастливого соперника! О, не говори, Мемнон, обо мне, говори о себе!.. Ты несчастлив!..

— Я несчастлив? Кто тебе сказал? — возразил он с удивлением. — Нет! счастья моего не нарушат люди всеми своими ухищрениями и соблазном... Знаешь ли ты... если бы она посвятила мне миллионную долю святого чувства, которое питает к Нему, как бы я был блажен! От утра до вечера и от вечера до утра я все бы молился; ни одного мгновения не помрачил бы ни задумчивостью, ни печальным вздохом... Но это слишком... Глупо добиваться слова «люблю», когда чувство говорит яснее взорами!.. Нет! прочь сомнения!.. Я видел — для чего ж взор поверять слухом?.. Да, мой друг, я видел, я чувствовал, что я...

Мемнон бросился ко мне на шею и почти шепотом произнес: «Я любим!..»

— Да, слушай: она прошла мимо меня, взглянула на меня, приложила руку к сердцу и подняла взор к небу... Довольно ли этого? а? скажи мне, друг мой... Что ж ты молчишь?.. Поделись со мною счастьем: во мне избыток его... Обойми меня!

Глаза Мемнона сияли радостью, крупные слезы выступили на них; я сжал его в объятиях, и мы оба зарыдали. То был дележ земного счастья — счастья земного!

— Ты понимаешь меня, — продолжал Мемнон, — потому что ты любишь и любим!

Что было мне отвечать на его слова? Они сдавили мне сердце, и казалось, что вместо слез текла кровь из глаз моих... Я не мог и не хотел упрекать Мемнона за судьбу свою, не мог и смотреть на него, не в состоянии был выносить его взоров. «Безумен он, — думал я, — смеется он сам над своей судьбой или верх несчастья так же сладостен для человека, как верх счастья?»

— Неужели ты останешься здесь навсегда? — спросил я его.

— Куда ж мне ехать? Бежать от счастья? — отвечал он, смотря на меня с удивлением.

— У тебя есть родные, ты еще молод; ты обязан жить не для одного только себя, но и для других, принести какую-нибудь пользу людям...

— Я думал об этом, друг мой! — отвечал он. — У меня есть имение; я отдам все родным и бедным, мне ничего не нужно здесь...

Напрасно уговаривал я его возвратиться в свет, хотя слова мои и противоречили чувствам: я сам готов был бежать отовсюду, где живет мнимое земное счастье, отовсюду, где говорят о любви и надеждах, отовсюду, где люди могли бы спросить меня с участием: отчего ты мрачен? что тебе изменило на земле? Но я сравнил судьбу свою с судьбою Мемнона. Он имел право жаловаться на людей, а я на кого должен был роптать? Мне ни дружба, ни любовь не изменяли... Я все получил, чего желал... все, кроме сердца Елены!.. Оно не было в распоряжении людском... Елена ли виновата?.. О, обманутый самим собой, я погубил ее благо вместе с человеком, от которого оно зависело... Слова Вранковича: «над сердцем две воли — своя да Божья» — звучали над ухом, и серб, добрый серб, как вкопанный, стоял передо мною с стаканом в руках, повторяя: «Пий руйно вино, за здравье моей сестрицы! Была у меня сестра, да не стало!..»

— Ты счастлив! — повторял мне Мемнон. — Я рад, что ты обязан счастьем моей дружбе!

— Что это значит, Мемнон? — спросил я, когда ему подали вместо обеда хлеба и воды.

— Это моя обыкновенная пища, — отвечал он. — Я не чувствую потребности в другой, а потому и не употребляю.

— Не убийство ли это плоти?

— Нет! я отказываюсь только от наслаждений, которые она мне предлагает взамен духовных. Что мне в тучности и красоте ее, если я должен отдать все мои чувства и желания в рабство ее прихотям?.. Она, как хитрая жена, овладев волею своего мужа, расточит все богатство его с своими любимцами, лишит доброго имени, сведет с ума и погубит себя и мужа.

— Слаб тот муж, который из боязни, чтобы жена не овладела им, держит ее взаперти, на хлебе и на воде! — сказал я. — Мне кажется, согласия и взаимного довольствия должно добиваться в таком союзе.

— Друг мой, друг! — сказал Мемнон. — Она и он могут жить согласно, счастливо, роскошно, наслаждаться взаимно без греха, но... если он ослеплен и не видит уже ничего пред собою, не заставит ли любовь к нему и ее отказаться от всего?

— Бедный! не ты ослеплен, а она! — хотел я сказать, но в отдалении послышался звон колокола.

— К вечерне! — сказал Мемнон, вскочив с места, и, забывая о моем присутствии, он торопливо пошел.

— В монастырь, сударь, пошел! — сказал Никон, вздыхая.

Любопытство заставило меня идти вслед за Мемноном.

Монастырь был не далее версты от дома, в вершине лесистой лоцины.

Я видел, как смиренно вошел Мемнон в церковь и стал у стенки. Сотворив несколько земных поклонов, не поднимая глаз, он поклонился на все стороны, хотя в храме почти никого еще не было. Монашенки пели на крылосах, и ряд их стоял у стены, против алтаря. Я замечал, куда обратит Мемнон взоры своя, но он был полон молитвы. Взоры его были поникнуты с какою-то боязнью взглянуть на все его окружающее.

Перед окончанием вечерни раздался колокольчик; сквозь толпы богомольцев-поселян прошли две монашенки, одна с кружкою, другая с серебряным блюдом.

Я смотрел, когда они приблизились к Мемнону, и, может быть, только я видел, как одна из них, поклонившись ему, приложила руку к груди и подняла взор к небу.

Надобно было видеть и ее и Мемнона, протянувшего руку к блюду, чтобы положить серебряную монету.

Она была полна красоты печальной. То был лик благочестия и смирения. Я смотрел на Мемнона, на нее, думал о судьбе еще трех существ и молился, не чувствуя, что слезы падали из глаз моих. Не в силах был я переносить долго положение Мемнона; на четвертый день я простился с ним.

— Торопись, — сказал он, — тебя ожидают объятия любви.

Я поехал. Слова Мемнона: «тебя ожидают объятия любви» — создавали в мыслях моих волшебные обители блаженства, посреди благоухающих рощей, на островах, обмываемых живыми струями серебряных вод. Чья-то жизнь посреди сих очарований полна была неги и взаимности. Вся природа, казалось, слушала, что шепчут друг другу два счастливых существа; поцелуй раздавался посреди благоговейного затишья, говора струй, шелеста листьев, песней птиц... Ах, Елена, Елена! все мои воздушные замки рушились... заглохла природа вокруг мрачных развалин... а эти развалины были мои надежды! Давно ли создавал я все это великолепие в мыслях своих? Если бы хоть память погибла о том, что тут было, если бы и она обросла плющом! Тут на коре пихты вырезано мое и ее имя вместе — они разрастаются нераздельно... На это имеет право только взаимность — срезать их!

Домой еду я — тороплюсь к жене... Как страшно это имя, когда нет при том мысли: «Она ждет меня! Сердце ее болит в разлуке со мною!»

IX

Вот открылась Москва в отдалении. Страшно было мне на нее смотреть!
Вот направо и налево шум — нет ни к чему внимания ни в душе, ни в чувствах!

Вот дом мой — толпа людей выбежала навстречу, провожает меня — нет ни к кому внимания ни в душе, ни в чувствах!

Я вбежал в свою комнату, сбросил с себя дорожное платье, сел, задумался; голова припала на руку...

— Что с тобою, мой друг? — раздалось подле меня.

То был тихий голос Елены; она припала ко мне на плечо и повторила вопрос свой.

— Здравствуй, Елена! — сказал я, боясь взглянуть на нее и не смея обнять ее.

Попечительно ухаживала Елена за мной. Она думала, что я болен, что меня разбила дорога.

«Как милы, радушны ее попечения! — думал я. — Если бы к участию жены придать участие любви! О, счастье мое было бы неземное! Но она не виновата: не меня избирала она для своего счастья!.. И она — страдалец на земле!»

Задумчив, молчалив стал я, не смел ласкать Елены, не смел называть ее своею — и моя ли она была? Имя мужа не дает права на чувства, и я не дерзал им пользоваться, не вынуждал не принадлежащего мне.

Мое обхождение невольно было почтительно с нею; я даже избегал быть вместе с Еленой.

Однажды случайно я вошел в ее комнату; она торопливо отерла слезы.

«Она плачет по нем! — подумал я. — Как свежо всегда воспоминание несчастной любви!»

Не желая нарушить ее горя... о! я испытал, как сладки минуты слез!., я хотел выйти.

— Друг мой, — сказала она, — сядь подле меня. Трепет пробежал по мне от слов, произнесенных с такой нежностью, какой никогда я не слыхивал.

Повинуясь Елене, я сел подле нее. Она взяла меня за руку.

— Ты совсем переменялся с тех пор, как был у брата, — сказала она, приклоняясь к моему плечу.

— Нисколько, — отвечал я, не зная, что отвечать, — Нет! ты переменялся, ты переменялся ко мне... Ты меня не любишь! — продолжала она тихим голосом, смотря мне в глаза взорами, на которых навертывались слезы.

Какой страшный вопрос для того, кто любит! Я не знал, что говорить мне. Как было решиться сказать, что я знаю ее тайну? К чему ж ей любовь моя, если она любит другого? Неужели это притворство?

Я хотел скрыть от Елены и свое смущение, и ее собственную тайну.

Она снова взглянула на меня и, вскочив с места, принесла младенца — моего сына.

— За что ты так равнодушен к его матери? — произнесла она сквозь слезы.

Я схватил младенца и заплакал.

Елена побледнела, затряслась, припала на диван, закрыла лицо платком и — ни слова! Она поняла все.

— Елена! — вскричал я, взяв ее за руку.

— Я ни в чем не виновата перед тобою, — произнесла она наконец.

— Елена, — повторил я, — мы оба не виноваты! Судьба соединила нас... Если бы я знал... что сердце твое не свободно...

— Постой, не говори, — сказала она, схватив меня за руку. — Дай мне прийти в себя... я тебе все скажу... я виновата пред тобою... я скрывала...

Слова ее прервались. Я молчал, хотел встать, чтобы сделать несколько шагов по комнате, не зная, чем утишить волнение крови. Елена удержала меня.

— Не оставляй меня... выслушай признание, — сказала она. — Я вижу — ты знаешь, что я любила... Отец мой сам, может быть, внушал в меня любовь к воспитаннику своему; отец мой желал выдать меня за него замуж... Но он сам отказался от меня... Это меня убило сначала. Долго не могла я изгнать из себя привязанности, но, уже замужем за тобою, я опомнилась; любовь твоя ко мне изгнала даже воспоминание... Я хотела сказать тебе, оправдать себя за равнодушные, с которым принимала твои ласки, но я боялась, медлила — и это обратилось в новую задумчивость во мне, и ты сам стал ко мне равнодушнее. Я плакала втайне, любила тебя и не смела показать того — о, я тебя любила!.. Неопытное мое сердце могло только безумно грустить по человеку, который сам забыл меня, но, согласись же, могла ли остаться во мне хоть искра любви к тому, кто изменил?

— Елена, Елена! а если он не изменил тебе? Если его обманули?

Елена остановила на мне взор свой с недоумением, и я стал рассказывать ей поступок Мемнона и встречу мою с Вранковичем.

Когда я повторял собственные слова Вранковича: «Пий руйно вино за здравье моей сестрицы Лильяны! Была у меня сестра, да не стало!» — «Так называл меня Радой», — сказала Елена, припадая головою на грудь мою.

Когда я сказал: «не насиловать сердца; над сердцем две воли — своя да Божья», я чувствовал пылающее дыхание Елены и видел на глазах ее крупные слезы.

— Ты жалеешь Радоя? — спросила она меня, когда я кончил рассказ.

— О, я жалею его, я люблю его! — отвечал я. — Я был бы счастливее... но я не виноват... Судьба лишила нас всех троих счастья!..

— О, нет, друг мой! то воля провидения: оно премудро, — сказала Елена голосом ангела-утешителя. — Мы должны его благодарить; по воле его я твоя, и все во мне твое. Не сам ли Радой сказал, что над сердцем две воли: своя да Божья? Бог заботится о нашем счастье, и мы должны любить то, что он нам дает. Мое счастье все в тебе было предназначено. Почему знать, может быть, и Радой гораздо счастливее будет с другою? Он не поверил бы так легко словам Мемнона...

— Елена! это доказывает только его доверчивость к людям: мог ли он думать, что брат твой скажет ему неправду?.. Мемнон так ужасно обманулся сам!.. Он думал только о моем счастье... о счастье друга.

— Нет, нет! Радой приехал бы сам!.. Но... все равно: я отказалась даже от воспоминаний об нем с минуты получения его письма... А потом я стала любить, сперва свой долг, а наконец... тебя только люблю!

Елена держала мою руку и смотрела в глаза мне, как будто ожидая приговора ее сердцу.

Я сжал ее в объятиях, и никогда столько счастья не ожидал я от своей будущности! Радой был общим, невидимым нашим другом. Мы часто говорили об нем, почти каждый день спрашивали друг друга: «Где-то теперь добрый наш Радой? как-то он поживает?» Я писал к Мемнону, уговаривал его приехать к нам хоть на несколько дней; он не отвечал... Судьба его мучит меня, но есть ли средства изменить ее?»

Здесь кончилась рукопись. Но вот какие странные обстоятельства: перечитывая ее, уже переписанную для издания в свет, я точно так же, как в первый раз в Варне, задумался: «Журнал она чьей-нибудь жизни или просто журнальная повесть, во всем смысле этого слова?.. Вранкович... Кто ж этот Радой Вранкович, который один только так жив в повести, что хочется на него хоть взглянуть? Вранкович!.. Странно! фамилия как будто знакомая... Нет! — то Бранкович... Но какое-то сходство... в темной памяти». Послушайте...

Я стоял в то время на левом берегу реки Прута, против Скулянского карантина, когда на молдавском берегу происходила картина ужасная. Вся равнина была покрыта бегущим из Молдавии народом от войск турецких, которые преследовали последний отряд разбитой этерии Ипсиланти. Вся эта толпа — в колясках, в каруцах, верхом, пешком с страхом, говором и шумом теснилась к переправе на нашу сторону. Пыль стояла тучей по дороге из Ясс.

Вдали за горой раздавались выстрелы... все ближе и ближе... Вдруг на высотах взвился как будто столб вихря, разостлался по скату и пошел быстро к переправе... Это бежали несколько сот этеристов, преследуемых турками и выстрелами. В несколько мгновений вся эта свалка сблизилась с толпами народа, занимавшего все пространство против переправы и хлынувшего от ужаса на паром и в воду. Преследуемые, этеристы бросились вправо, в кут реки, и здесь еще думали обороняться и удержать напор турков единственной пушкой, заряжаемой остатками гвоздей. Но турки выставили против них несколько орудий, и дело было решено: все бросилось в воду и спасалось от преследования под кров нашего берега, уставленного войсками и орудиями. Турецкие пули метко подстреливали плывущих; по реке заструилась кровь и поплыли трупы убитых и утопших к морю. В то время обратил я особенное внимание на одного этериста, который стоял на коленях и не переставал стрелять по туркам, прикладывая ружье на лежащий перед ним камень, как на бруствер. Он один был защитой переправы товарищей своих, но, верно, заряды его истожились все; он

встал на ноги, ударил ружье о камень и бросился в воду — поплыл. «Ай, Боже, Боже!» — раздался на реке, вправо от переправы, звонкий голос; то была девушка, которая уже утопала и молила о помощи... Этерист, казалось, услышал этот голос издали и поплыл вниз по реке под пулями турецкими, выхватил девушку из воды, вынес на берег, положил на землю и упал подле нее, весь в крови. Увлеченный чувством, я бросился к ним, но вспомнил, что нас разделяет карантинная цепь. Но я видел лицо девушки. По красоте своей, по черным глазам, над которыми срослись густые брови, и по большим ресницам, как будто отражавшим блеск взоров лучами, и по одежде я думал, что она молдаванка. Длинные локоны ее смокли от воды и разостлались по пунцовой бархатной, шитой золотыми шнурами кацавейке; на ней было белое платье, и стан перетянут кожаным поясом с большою чеканенною пряжкой. Она стояла на коленях перед своим спасителем и перевязывала ему плечо. Я не насмотрелся бы на нее, если б не обязанности службы. Через несколько дней я приехал снова в Скуляны. Противный берег был уже пуст, но зато берег с нашей стороны, подле карантина, был занят биваком бежавших из Молдавии; они были окружены цепью солдат и выдерживали карантинный термин. В раскиданных толпах по луку с трудом нашел я то, чего искали глаза мои. Под навесом наброшенного плаща, на воткнутых в землю жердях, она сидела на ковре подле этериста, который лежал, приклонив голову на ее колени. Мне хотелось с ней говорить, но каким образом? Как подзвать ее к цепи?

К счастью, мне пришла мысль, что, может быть, она подойдет покупать провизию к маркитанту карантинному. Терпеливо прогуливался я в ожидании по берегу, не спуская с нее глаз. Перед вечером ожидание мое сбылось. Она подошла к намету маркитанта и спросила по-молдавански *кочковалу*³⁴, хлеба и яблоков, опустив *галбин*³⁵ в чашку с уксусом.

— *Фата формоза*³⁶, — сказал я ей, — скажи мне, как тебя зовут.

— Мирослава, — отвечала она.

— Неужели это молдаванское имя?

— Я не молдаванка, я сербка.

— Где ж твои родители?

— Отец служил при князе Суццо... Агой — его убили турки...

— С кем же ты здесь?

— С родичем сербом Бранковичем.

— Это, верно, тот этерист, который спас тебя, когда ты утопала во время переправы? Я был свидетелем его доброго поступка. Он ранен?

— Он ранен, — повторила Мирослава.

— Ты любишь его?

— Кого ж мне любить, кроме его? Сам Бог послал мне его вместо отца и матери.

³⁴ сорт сыра (молдав.).

³⁵ золотую монету.

³⁶ красавица (молдав.).

Мирослава удалилась, а я долго еще стоял и думал: «Счастлив тот, кому Бог пошлет тебя — перевязать рану сердца», — прибавил бы я теперь, если бы был уверен, что спаситель Мирославы некогда любил Елену.

С тех пор я не видал уже Мирославы, но теперь, по прошествии восемнадцати лет, читая рукопись, припомнил я все обстоятельство и почти убежден, что этерист, которого я видел, есть именно Вранкович, тем более что, сколько мне помнится, он также был в черной венгерке и в черной скуфье, обшитой серебряным снурком.

Это один случай, подтверждающий истину повести; а вот и другой, который, как мне кажется, относится до Мемнона. Описываю слово в слово рассказ пожилой няньки, которая уже года с два живет у меня в доме.

Слушая часто, мимоходом, ее болтовню про всех господ, у которых она жила, мне показался язык ее так оригинален, что я вздумал написать рассказ ее со всею простотою и болтливостью, свойственною такого рода женщинам, у которых в памяти много есть любопытного и годного для повестей и романов.

Вот что она говорила мне.

«— Извольте видеть, — начала она, — доложу вам, что старая моя барыня смолоду, и Бог ведает, как хороша была. На бал ли поедет, в гости ли или дома музыка и танцы — все молодые графы да князья так к ней и ластятся, отбою нет! А матушка ее, Ульяна Петровна, строгий человек была: прислушивает да присматривает, чтобы какой молодец не наворожил чего на девичье сердце. А уж какие хитрые, способные, и Боже упаси! Один военный, знаете, сидит подле Лизаветы Васильевны да что-то и шушукает, а я барышне стакан воды подношу да и слышу, говорит: «Ах, сударыня моя! везде я был, был и в Аглецком краю, да что ж то за край, где нет солнца и вас, Лизавета Васильевна?» Девичья молодость всему верит. Верно, ей по душе было, а я не величка была, да рассудительна. Думаю себе: видишь какой! рассказывал бы эти сказки не белому дню, а темной ночи... В Аглецком краю солнца нет! Да что ж там при свечках, что ли, люди живут?..

А Лизавете Васильевне военный смельчак пришелся по сердцу. Она было вздыхать, да любовник песенки попевать за фортопьянами, а тут и присватайся титулярный асессор Иван Лукич — Ульяна Петровна и рада. «Ну, — говорит, — Лизанька, ты уже в поре невеста, а нам Бог дает и жениха чиновного, человека служебного, и с орденом, и с аттестациями».

Ульяна Петровна, знаете, сидит вот так в креслах; Лизавета Васильевна подле столика за работой, а я стою себе за дверью, вяжу чулок да прислушиваюсь к словам. Вот, не успела еще Ульяна Петровна кончить речи, а Лизавета Васильевна как вспыхнет да в слезы — дурно, дурно!.. Да Ульяна Петровна не больно смотрела на дурноту. «Что это такое, сударыня? — говорит. — Да что это, сударыня, такое?» Да как припустит на нее, а та сама не робка: «Не пойду, да и только!» — «Как? из материнского послушания выходить? Не пойдешь? не пойдешь?» — «Не пойду, да не пойду!» — «Вон! В девичью! Платье долой!..» Тут кликнула Ульяна Петровна меня... Я так и трясусь, сама не своя от страху. Приказывает мне принести затрапезное платье... Ах ты, Боже великий! ничто не бе-

рет!.. Лизавета Васильевна сбросила с себя шелковое платьице, да и пошла в девичью; села в угол и ни слезинки. То-то подумаешь, какая была она добрая, а с той поры что за изверг стала! И Ульяне-то Петровне велика нужда была насилловать душу! Три дни просидела Лизавета Васильевна в девичьей на хлебе да на воде... «Соглашаешься?» — «Нет!» Мы, бывало, тайком принесем ей пирожка с кашей — оттолкнет рукой от себя... да и только!

Как прошли три дни, Ульяна Петровна и послала ей платье, да и приказала к себе идти. «Пойдешь замуж?» — «Пойду!» — говорит, да таким голосом сказала, что меня ужас взял. Ну, не будет добра! Так и случилось... То-то: создаст Бог душеньку светлую, ласковую — не налюбуйешься на нее; а люди изнасилуют, да и сделают ехидом!

Спросить бы Ивану Лукичу: угодно ли, дескать, сударыня, вручить мне вашу руку и сердце? А он такой скромной был — ни слова; женился по словам свахи: любит, батюшка, вас, как душу любит; женился — да и покаялся. Меня отдала Ульяна Петровна в приданое. Бывало, Иван Лукич приласкается, скажет: друг мой, Лизинька, а она — как закаленная; он приноровит, а она так и рознит. Да до того дошло, что, бывало, сердце кровью обливается за Ивана Лукича. Отучила от дому и знакомых, и родных, сбила с толку всю службу; он велит то, а она напротив. Иван Лукич слово, а Лизавета Васильевна десять. Он рассердится, а она прикинется в обморок. Забеременела — еще хуже: так и клянет детище в утробе, прости Господи ей греха! Не хочу носить, да и только, — да и пошла колесить по мостовым; потоль на снос, в дальнюю деревню — взяла только меня с собой. И родила девочку, такую хорошенькую, что и Господи! А никто не знал, не ведал, да и принимала-то не бабка, а я. Вот, думаю себе, Бог примирит отца и мать на детище. Не тут-то было: и христианского долга не исполнила, точно... прости Господи!.. Да уж Бог с ней!.. Велела мне завернуть ребеночка да отнести тихомолком к кому-нибудь под окно. Да говорит: смотри, если промолвишься кому, кожу сдеру, со света Божьего стоню! Ох, небесная сила! Во мне все жилочки порвались... что за мать! ах, она изверг!.. Да что ж, наше невольное дело: делай, что приказывают... Вот завернула я голубушку крошечку всю в одеяльцо, положила в кулечек, чтобы не признала дворня, да в ночь и отнесла под окно старосты, положила на присытбе, да так и взрыдала! Воротилась домой, а на душе точно камень. А тут пришли филипповки, я и говорю: «Позвольте мне поговорить, сударыня». Позволила. Я на духу и не утерпела: сказала священнику весь грех, да прошу, не погубил бы меня, не рассказывал никому. «Не бойся, не скажу», — говорит — такой добрый отец Иаким! Помолилась и за барыню, причастилась, как будто и легче стало. Вот мы собираемся ехать в Москву, а священник прислал тихонько за мной: побывай, дескать, Ирина Тимофеевна, есть дело. Покуда барыня изволила покушать на дорогу — я к священнику. А он поднес мне бумагу писанную, начертил на ней крест, да и говорит: приложи руку. Я так и затряслась. Что ж это, донос, батюшка? Не бойся, это свидетельство о рождении и крещении младенца Веры, церковный документ. Перекрестилась я, да и приложила руку к бумаге... Никак замарала, батюшка? А отец Иаким говорит: «Ничего, ничего, ступай с Богом!» Я и пошла. Вот приехали мы с барыней в

Москву. Как вошел барин в комнату, я и прислушалась у дверей. «Где ж наше дитя, мой друг?» — спросил он не своим, сердечный, голосом. «Умерло», — отвечала Лизавета Васильевна, как будто и не ее дело. «Ах ты, окаянная!» — подумала я себе. Иван Лукич так, голубчик, и заплакал. Ах, Боже ты мой! сроду не видала мужских слез, привел Бог увидеть горчайшие.

Прошел годок, смотрю, а военный смельчак, что барыне, как она еще барышней, турусы на колесах рассказывал, начал в дом учащать, и завела барыня балы да вечера, да катанья. И повесил Иван Лукич носик, вот, как голубь, ей-Богу! Такой добрый был: не по сердцу, а угождает барыне — не поднимай лишь содома! Ему же хотелось все деток иметь. Ну, и дал Бог детище, еще дочку. Да не порадовался Иван Лукич: барыня, бывало, и поцеловать не даст ему дитя свое, а сама так и нежит, так и ластит. А какая крикливая уродилась, Бог с ней, вся в мать! Припомнила я первую дочку: как небо от земли! Что это такое, подумаешь! Кажись, одной утробы дети, а не равна любовь к ним. Крестины, не крестины — обед да бал, и прозвала она вторую дочку свою каким-то не русским именем, чорт знает, Розиной! Другой сказал бы барыне, что, дескать, матушка, сударыня, ей-ей, что бы за имя такое бранное: разиня? За что детище свое прежде времени не добром величать? Ведь это, матушка, французы смеются над нами! Да она не такова была: своих речей к ее речам не прикладывай.

Не прошло пяти годочков, Лизавета Васильевна выжила Ивана Лукича совсем из дому. Горемычный уехал в свои поместья, да и поминай как звали. Тут-то пава широко хвост развернула, петухом пошла; в дому содом, да добро бы только от нее, а то и от дочки-то, бывало, места нет. Уж, правду сказать, по зверю шерсть, а по человеку честь — такая разиня, да и красотой-то, Бог весть в кого, неудачная!

Вот однажды поехали мы в село, то самое, где барыня родила первую дочку: приехали да на другой день в церковь. В церкви-то, вижу, барыня посматривает на девочку в беленьком платьице, стоит у самого крылоса, — такая хорошенькая! Барыня смотрела, смотрела прямо, да и стала вдруг искоса поглядывать на нее. Как все пошли из церкви, она и призови священника: «Чья, дескать, это девочка?» — «Это, сударыня, — заговорил священник, — сиротка, найденыш, выросла у старосты, да я взял ее на воспитанье — такая добрая, благоразумная, не крестьянская должна быть». Как нахмурится барыня да закусит губы: «Я, — говорит, — возьму ее к себе». Отец Иаким спроста и поверь. «Слава Богу! — думает, — материнское сердце отозвалось». Как всмотрелась я — вылитый Иван Лукич! Ах! ты, Господи! Как лик Отца небесного на человеке, так лик отца родного на детище! Собрались в Москву, и взяла барыня Верочку с собой — привезла, да в девичью и приписала ее в крепостные — ей-Богу! А у меня так сердце и облилось кровью! Ну, уж вот наплакалась я вдоволь по сироточке: как засадит она ее за всякие работы, как начала казнить ее, что час, что день, как заставит прислуживать неключимой Розине Ивановне, а на вечер посадит у себя в ногах, на полу, вязать чулки! Боже ты мой великий, и знаешь все, да молчишь! Да и кому ж промолвить, что это, дескать, барышня, да еще и дочь барская, сестра Розине Ивановне... То-то и горе наше, что есть правда, да под спу-

дом. А Верушка такая угодливая, послушная... Счастье же, что полюбила ее Розина Ивановна; бывало, барышню учат всему мадамы да французские учителя, и Верушка перенимает. Да не надолго были к ней любовь и милость. Как подросла Розина Ивановна, да минуло 15 лет, ан и стала ей чужая красота глаза колоть. Однажды, на беду, вздумай она да и наряди Верушку в свое поношенное платье, да еще возьми с собой в Шереметьевскую. Народ-то, знаете ли, начал дивиться: кто-де это такая благородная барышня? Да все и уставь на нее глаза, а Розина Ивановна и заметь, да так и загорелась с досады. Признательно сказать, и сама я подивилась красоте Верушки, как ее принарядили: белая, румяная, как писанная на портрете, стан в рюмочку, волоса — волос к волосу, как шелковые, очи ангельские, и речь-то что за приятная, ласковая! Ей-Богу! ты дивись, а породистая кровь видна, хоть в дерьмо наряди. Как приехала барышня домой, да и нажаловалась барыне на Верушку. «Ах! ты мерзкая, — говорит, — ты бояриться? В кухню ее, в прачешную!» Голубушка ты моя! уж какими же и путями спас тебя Бог от ехидов! Смотрим: приехал знакомиться молодой богатый помещик.

Барышне и приглянулся он, так и увивается около него, и барыне, верно, пришелся по нраву зять. А Захар мне и мигнул: вот, дескать, тот молодой барин, что допрашивал в церкви про Верушку: кто такая барышня да где живет? А я чуть-чуть не лопнул да говорю: не могу знать.

Я и смекнула делом: голубчик ты мой, думаю, не туда ты силочки ставишь!.. Говорил, говорил он с барышней, да и бряк: «Вы, — говорит, — такие набожные, Розина Ивановна, я это заметил». — «Да когда же это?» — спросила она его. «Да вот четвертого дня, в Шереметьевской, как вы были с подругой вашей, не имею чести знать ее фамилии...» Как вспыхнет Розина Ивановна, да и говорит: «Не была я ни с какой подругой, со мной была моя девка Верка!» Молодой барин и покрасней — помолчал, помолчал и вон; обещал было обедать приехать, да и не приехал. А барыня-то знает, что ластовица³⁷. Пришла беда Верушке! Барышня в слезы, что девку ставят ей в подруги, а барыня и начала ее уговаривать: я, дескать, сошлю ее в деревню. Дня через два приходит Артамоновна, рухлядью что торгует по домам, да и говорит барыне: а что, сударыня, продадите ли свою девушку Верку? Хорошие бы деньги за нее взяли. Верно, поняла барыня, в чем дело. «Нет, — говорит, — непродажная». И что ж вы думаете? Взяла да и отправила Верушку в деревню, да и дала приказ старосте выдать ее замуж за бобыля Сафрона — дурак дурачина, в дворниках у нас был. Я как спознала об этом, так и грянулась в слезы: ах! ты моя сирота невольная, беззащитная! Родная мать, изверг, тебя иссушит, как былиночку; добро бы змея злая мачеха! Плачу навзрыд. Проходит с неделю, молодой барин и ног не показывает. А барыня прослышала от своей твари наушницы, что Артамоновна приходила в девичью да все выведывала: куда девалась Верушка? Догадалась, верно, что увезут ее из деревни; послала приказ священнику отвести Верушку в соседский монастырь да сдать с рук на руки игуменье, да и написала к ней, чтобы приняла ее девку Веру в услуженье и приписала бы ее в белицы, на искус. Уж этому, признаюсь, я и порадовалась, думаю: Божья невеста! А барышня по мо-

³⁷ ласточка.

лодом барине с ума сходит, слегла в постель. Ад настал, исказнила, изморила людей! Бывало, дочка не спит, и никто не смеет спать, избави Боже! Да и у самой барыни ни макового зерна в глазу. Ну, насмотрелась я, как Бог наказывает за грехи слепую любовью! Надо же сказать, что такая любовь хуже ненависти: что дочь ни вздумай, мать душу выложит — рабыня детская, да и только!

Прошел месяц. Приехала к барыне знакомая одна, Степанида Прохорова, да и завела разговор про имения: брат ищет купить получше деревню, не продашь ли, Лизавета Васильевна? Что тебе толку в дальней, а брату степная и нужна, не пожалеет денег; продай да продай село Чуриково, что хочешь возьми. Барыня и польстилась да еще обрадовалась, что нашла глупых людей, что не торгуясь покупают. Вот заключила контракт, сдала опись душам — деньги-то, верно, нужны были. Праздник не праздник, платье не платье, на жемчужных нитках хоть повеситься, да, верно, не было счастья: что-то женихи не шли на приманку, да, если правду сказать, и счастье-то на казнь злому человеку!

Вдруг однажды приносит почтальон письмо. Как развернула барыня, так и ахнула! Пишет к ней игуменья, что новый помещик села требует по описи девушку Веру. Я себе думаю: Господи! как счастье-то ищет Верушку... А барыня как вспыхнет: «Я ему дам Верку!» — да и написала к игуменье, чтобы не выдавала ее, а скорее бы постригла да избавила от соблазнителя, который хотел ее увезти из дому да обманом, для удовлетворения нечистых замыслов, купил через другие руки село Чуриково... Уж расписала так, как нельзя лучше!.. Я поплакала, поплакала да и думаю себе: ну, будь она Христова невеста!

А в ту же пору за барышню Розину Ивановну присватался жених, а я и в ноги барыне: обещала еще матушка ваша пустить меня на волю за верную службу, и вы, сударыня, обещали; уже теперь, в добрый час, дайте за вас Бога молить. Да и Розине-то Ивановне в ноги. Вот и дали мне отпускную на волю. Я рада-радехонька: отслужила молебен Иверской божией матери, переехала на квартиру да и ноги не кладу в дом Лизаветы Васильевны. Бог с ней! неравно еще проведает, что я сказала на исповеди отцу Иакому, что Верушка родная ей дочь».

— Послушай, няня, — спросил я по окончании рассказа, — не Мемноном ли Васильевичем зовут молодого барина, что полюбил Верочку?

— Уж того не знаю, не припомню, как зовут, из памяти вышло... У нас все звали его: молодой помещик, да молодой помещик.

— Не ошибаешься ли ты: не Шарковым ли называют село Чуриково?

— Да, Чуриково же я и говорю.

— Не Шарково ли? Шарково?

— Так, так, Чуриково!

— Глухая! — вскричал я с досадой.

Таким-то образом от одного слова иногда зависит развязка тайны.

Да что ж сделаешь с глупостью, слепотой и глухотой!

Примечания

В тексты вносились обоснованные исправления. В процессе приведения их в соответствие с современными нормами правописания оставлялись без изменения некоторые орфографические архаизмы и авторские неологизмы (напр., тротоар, туалет, сиурок, фасинабельный, скрипка), отражающие литературные и разговорные особенности и атмосферу эпохи. В то же время исправлялось такое написание, как карриера, литтература и пр. В тех случаях, когда авторская пунктуация не искажала, не делала неясным смысл высказывания или не противоречила современным правилам, она не изменялась.

Сохранены все подстрочные примечания автора. Остальные пояснения и комментарии подготовлены впервые.

Повесть была впервые напечатана в журнале «Сын Отечества» (1839, т. VII) и вошла в сборник «Повести» (1843).

В повести отражены исторические события.

В 1810-е годы балканские народы еще находились под османским игом. Дунайские княжества (господарства) Молдова (тогда называлась Молдавией) и Валахия управлялись князьями (господарями), назначаемыми Портой (Оттоманской империей) и Диваном (государственным советом), в который входили турки и фанариоты (представители греческой аристократии и духовенства, пользовавшиеся привилегиями на занятие постов в турецкой администрации). Под властью Порты были Болгария и Греция. На Балканах росло народное возмущение, стремление освободиться от османского владычества и угнетения местных бояр. Много революционно настроенных греков, болгар, молдаван, валахов находилось в Бессарабии (ныне — Молдавии), расположенной к востоку от р. Прут. Она была присоединена к России после русско-турецкой войны 1806—1812 гг. на основании Бухарестского мирного договора 1812 г. Среди них был и грек Александр Ипсиланти (1792—1828), генерал-майор русской армии.

В Греции со второй половины XVIII в. возникают этерии — тайные революционные организации. Осенью 1814 г. в Одессе была создана национально-освободительная организация «Филики Этерия» («Дружеское Общество»). В 1820 г. в нее вступил Ипсиланти, встал во главе «Филики Этерия» и в 1821 г. поднял восстание в Молдове, опубликовав 24 февраля (8 марта) в Яссах знаменитое воззвание «В бой за веру и отечество». Сотни добровольцев стекались в его лагерь в Молдове. Через месяц восстание распространилось и на саму Грецию. Так началась Греческая революция 1821—1829 гг. Восстанию под руководством Ипсиланти очень сочувствовали в России. Пушкин, находившийся тогда в Бессарабии, писал:

Война! Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вокруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей!
Стремленья бурных ополчений,

Тревоги стана, звук мечей,
И в роковом огне сражений
Паденье ратных и вождей!

О волнующих событиях поэт рассказал в письме к В. Л. Давыдову: «Греция восстала и провозгласила свою свободу (...) Восторг умов дошел до высочайшей степени, все мысли устремлены к одному предмету — к независимости древнего Отечества» (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIII, (б. м.), 1937, с. 22, 23).

Вельтман познакомился с Ипсиланти в Кишиневе и сам с глубоким волнением ожидал, как развернутся события.

Примерно в это же время в Валахии было поднято восстание, во главе которого встал Тудор Владимиреску (ок. 1780—1821). Сначала оно развивалось успешно, восставшие вошли в Бухарест. Все ждали соединения Владимиреску с Ипсиланти. Но на валахов двинулась турецкая армия, и, чтобы выиграть время для организации отпора, Владимиреску одновременно с переговорами, начатыми в штабе Ипсиланти, вступил в переговоры с турками. Он был заподозрен этеристами в измене, его предательски захватили и убили. Валашское восстание было подавлено, потерпел неудачу и Ипсиланти, очень ослабив свое положение раздором с Владимиреску. В июне 1821 г. войска восставших греков были разбиты турками в сражении при Драгошанах.

В результате русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Греция получила независимость, а Молдова и Валахия — автономию.

Эпизоды событий 1821—1828 гг. Вельтман описал как свидетель и непосредственный участник.

В главе IV «Радоя» рассказывается о средневековом рыцарском турнире. Им руководят судьи — *джюджедуры*. Перед началом состязаний исполняются приветственные песни. Их поет *минстрель* (менестрель) — им мог быть сам поэт или бродячий певец-музыкант. *Сирвентес-римот* и *лей* (ле) — жанры лирики трубадуров.

Варна была взята 29 сентября (11 октября) 1828 г.

Лев — денежная единица, имевшая хождение на Балканах.

Китаб — книга (араб.).

Гейдельберг — сорт вина.

В песне «Фельдмаршал Ипсиланти, большой генерал Дука!» припев «Пом-пом-пом-померани-пом!» имеет особое значение. Это строка из румынской народной песни о Владимиреску, в аллегорической форме рассказывающей о судьбе народного героя. Точно этот стих звучит так: «Рот, рот, рот, егат еп, рот», что в переводе означает: «Фруктовым деревом, фруктовым деревом, фруктовым деревом был я, фруктовым деревом». Песня получила широкую известность. Вельтман цитировал первый стих в романе «Странник» (гл. СССІХ).